

**НИКОЛАЙ  
НИКОЛАЕВИЧ  
АЛЕКСЕЕВ**

РОЗЫ И ТЕРНИИ

История в романах

Николай Алексеев

**Розы и тернии**

«Public Domain»

1898

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

**Алексеев Н. Н.**

Розы и тернии / Н. Н. Алексеев — «Public Domain»,  
1898 — (История в романах)

ISBN 978-5-501-00015-5

Николай Николаевич Алексеев (1871–1905) – писатель, выходец из дворян Петербургской губернии; сын штабс-капитана. Окончил петербургскую Введенскую гимназию. Учился на юридическом факультете Петербургского университета. Всю жизнь бедствовал, периодически зарабатывая репетиторством и литературным трудом. Покончил жизнь самоубийством. В 1896 г. в газете «Биржевые ведомости» опубликовал первую повесть «Среди бед и напастей». В дальнейшем печатался в журналах «Живописное обозрение», «Беседа», «Исторический вестник», «Новый мир», «Русский паломник». Автор многочисленных, главным образом исторических, произведений: «Татарский отпрыск» (1896), «Среди бед» (1897), «Розы и тернии» (1898), «Лжецаревич» (1899), «Заморский выходец» (1900), «В грозу народную» (1902), повести «Федосеевский владыка» (1903), «Огневой еретик» (1905) и др. Герои романа «Розы и тернии», представленного в данном томе, жили и действовали в годы правления Бориса Годунова. Многие события того времени раскрываются в остром противоборстве сторонников и противников укрепления централизованного Российского государства. Освещение этих событий сочетается в романе с мелодраматическими сюжетными линиями, с любовной интригой и бушующими страстями.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-501-00015-5

© Алексеев Н. Н., 1898

© Public Domain, 1898

## Содержание

Часть первая	7
I. На медведя	7
II. Опасная прогулка	10
III. В усадьбе	14
IV. Думы «слуги государева»	16
V. Горе и радость	18
VI. Два гаданья	22
VII. У ведуна	25
VIII. Кончина последнего рюриковича	29
IX. Подкинутый	30
X. Какой мед для приемыша сокрыт был в вотчине	33
XI. Свершилось	35
XII. В ожидании «милого»	38
XIII. Неожиданное открытие	40
XIV. Любовь	41
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# **Николай Алексеев**

## **Розы и тернии**

© ЗАО «Мир Книги Ритейл», 2011

© ООО «РИЦ Литература», 2011

\* \* \*

## Часть первая

### І. На медведя

В ясный зимний день, в начале января 1598 года, по одной из московских улиц шел молодой боярин. Это был среднего роста плечистый молодец. От его краснощекого лица веяло здоровьем; серые большие глаза приветливо смотрели из-под темных бровей.

Мороз стоял крепкий. Но молодой боярин или был привычен к холоду, или слишком жарко вращалась кровь в его здоровом, молодом теле, только он не старался поплотней завернуться в свою шубу, подобно встречным прохожим, и даже расстегнул ее ворот. Невысокая шапка «мурманка» была несколько сдвинута на затылок, и свесившаяся с плоской тульи золотистая кисть касалась выбившейся пряди темно-русых волос. Судя по пришитой к боку шапки петле, в середине которой горел кровавым светом крупный рубин, по богатству шубы, молодой боярин должен был обладать не малым достатком. Так и было на деле: отец его, князь Фома Фомич Щербинин, славился в Москве своим богатством и, в равной мере, скупостью. Правда, себе старый князь не отказывал ни в чем – его дом был лучшим в городе после дома правителя Бориса Федоровича Годунова, в конюшне стояли прекрасные кони, но никто никогда не слышал, чтобы Щербинин помог кому-нибудь, и в годину народных бедствий – голода, мора – только он один оставался глух к стонам бедняков. Сын его, Алексей Фомич, был не таков – он был добр и отзывчив на просьбу о помощи.

Молодой боярин шел не спеша.

– Алеша! – долетел до него окрик.

Алексей Фомич быстро обернулся:

– А! Павел!

– Ты куда это пешью бредешь?

– Да я к тебе зайти посидеть думал.

– А я от тебя... Сказали мне, что тебя нет, что недавно ушел ты только, пустился я вдогонку, – говорил Павел, высокий, богатырски сложенный мужчина.

Он одет был много беднее своего приятеля, но зато был гораздо красивее его лицом. Белокурая густая борода лопатой падала на широкую грудь, из-под шапки выбивались кольца непокорных вьющихся волос, синие глаза казались глубокими, как море, и от взгляда их должны были трепетно забиться сердца многих красоток.

– Али дело есть? – спросил Алексей, остановясь с приятелем на краю дороги.

– Есть. Тебе сегодня в Москве делать нечего?

– Совсем нечего, инда скучища берет!

– Поедем-ка мы медведя травить.

– А разве выследил?

– Намедни холоп мне сказывал, что в леску, верст десятка за два от города, заприметил берлогу.

– Что ж, я рад. Вишь, погодка-то какая благодать!

– Мы на рогатину его возьмем, коли не больно матерый... Прихватим с собой и ручницы.

– В санях поедем или верхами?

– В санях удобней...

– Ну, ин, ладно! Так я пойду снаряжаться. Велю тройку запрячь самых что ни на есть горячих коней... Пойдем со мной, что ли?

– Нет, и мне надо собраться. Я живой рукой прибегу к тебе.

– Так прощай пока.

Прятели разошлись.

– Слышь, Алеша! – окликнул Павел приятеля.

– Что? – обернулся тот.

– Холопей, слышь, не бери! Куда их? Только коням тяжелее.

– Ладно, – ответил князь Щербинин, и друзья зашагали каждый в свою сторону.

Немного времени спустя после этого разговора по московским улицам лихо неслась тройка коней, запряженных в широкие пестро раскрашенные сани, в которых сидел, правя конями, молодой князь Алексей Фомич и рядом с ним его приятель Павел, полное имя которого было Павел Степанович Белый-Туренин.

Промелькнули перед ними палаты бояр, окруженные дворами, садами с неподвижными заиндевелыми великанами-деревьями, облитыми косыми лучами зимнего солнца, промчались они мимо нескольких церквей, миновали пригород с его покосившимися лачужками и выехали в поле.

Белоснежную скатертью раскинулась покрытая снегом равнина. Кони надали сами собой. Шумный город быстро уходил вдаль. Тихо. Только кони фыркают да снег скрипит под полозьями.

– Эх, любо! – воскликнул Павел Степанович и, взяв из рук товарища вожжи, привстал и гикнул.

Коренник вытянулся и подбавил рыси, пристяжные фыркнули, согнули шеи и понеслись галопом.

Дух захватывало от скорой езды.

А Белый-Туренин по-прежнему стоял в санях, гикал и размахивал концами вожжей. Его синие глаза засветились огоньками, на бледном лице заиграл румянец; бесшабашною удалью веяло в это время от его лица; не было, кажется, на белом свете такой преграды, которая могла бы остановить его: стародавний русский богатырь проснулся в мирном боярине конца XVI века, тот богатырь, который с равной охотой и осушал одним духом полуведерную чару зелена вина, и шел один на один против косолапого, косматого и далеко не любезного мишки.

– Лихо! Любо! – приговаривал изредка Павел Степанович.

Князь Щербинин не вторил ему. Даже было сомнительно, слышал ли он возгласы своего спутника. Быстрота езды произвела на него иное действие.

Сын грубого века, здоровый, цветущий на вид, юноша своей душевной чуткостью опередил ту эпоху, в которой жил. Он был создан мечтателем, и, живи он в наше время, он стал бы поэтом. Тишина летней ночи, сияние полной луны и рев бури, блеск молнии равным образом заставляли звучать в его душе неведомые струны. Товарищи подметили это свойство его натуры, посмеивались над ним и, в тайниках души, побаивались: способность видеть и слышать там, где другие люди ничего не находят такого, что могло бы привлечь их внимание, казалась им бесовским наваждением. Они даже не были твердо уверены в том, что молодой князь не знает с нечистым.

Теперь, во время езды, Алексей Фомич, отдав приятелю вожжи, сидел, откинувшись на спинку сиденья. Солнце ударило ему в лицо. Он закрыл глаза. Морозный ветер обвевал его, сани слегка покачивались: картина за картиной проносились в его поэтически настроенном воображении.

То ему казалось, что он несется по волнам неведомого моря, того, которое, говорят, находится в немецкой земле, где иные люди, иной язык, иная и страна – теплая, беззимняя.

Волны покачивают ладью. Ветер надувает парус, свистит в снастях. Он крепко держит руль, правит туда, где виднеется берег, поросший лесом, не русским, хвойным, а иным – деревья стройны, широколиственны. Он знает, зачем плывет туда: там его ждет «она»! Князь уже видит ее: она стоит на самом краю берега, так что волны добегают до ее ног, и машет ему платком. Солнце озаряет ее. Ее голова кажется золотой от распущенных волос. Ветер слегка шевелит

ими. Лицо ее бледно. В глазах видна тоска ожидания, а на устах играет улыбка, дрожащая, как сквозь слезы.

– Милый! Соколик! Я жду тебя! – шепчет она, и, как это ни странно, он слышит ее шепот: даже шум прибрежного прибоя не может заглушить его.

– Сейчас, сейчас, голубка! – кричит он и поворачивает ладью вразрез волнам...

Внезапно картина сменяется новой.

Грозно смотрят бойницы крепости. Медь орудий тускло отливает на солнце, стальным блеском сверкают шелома бойцов, защитников крепости. Он, князь Щербинин, мчится к твердыне в толпе всадников. Спешились. Тащут лестницы, приставляют к стенам. Огненные языки вырвались из пасти орудий, громынули пушки; свинцовый дождь осыпал нападавших. Клубы белого дыма окутали крепость. Но этот дым не мешает князю рассмотреть, кто стоит на верху зубчатой башни. Это – «она»! Опять – та же девушка. Вот золотятся на солнце ее дивные косы. Она зовет его, манит и плачет.

Туда, к ней! И он, забыв про опасность, про свирепых врагов, поджидающих его на высоте стены, оттолкнув своих соратников, взбирается вверх по лестнице...

Сильный толчок заставил Алексея Фомича оторваться от мечтаний.

– Что случилось? – спросил он Павла, видя, что кони стоят и мнутя на месте.

– Вон, глянь, у леска что.

Молодой князь всмотрелся.

Впереди, на белом снегу поля, у недалекого леска, ясно выделялись несколько темных живых существ, похожих по виду на собак. Щербинин сразу узнал, кто это.

– Волки! – воскликнул он.

– Да, волки. До леска нам будет не добраться. Придется назад воротиться. Экая досада!

– Чего хуже!

– Спасите! Спасите! – донеслись до слуха молодых людей вопли нескольких женских голосов.

– На помощь зовут, – сказал Белый-Туренин. – Поедем! Должно, волки напали.

– Кони пойдут ли? – с сомнением проговорил Павел и хлестнул по всем по трем.

Лошади затолклись на месте, но вперед не шли и делали попытку свернуть в сторону Москвы.

Алексей Фомич явился на подмогу приятелю, взял из его руки кнут и, пока тот подергивал вожжами, принялся сплеча нахлестывать коней. Дружные усилия возымели свое действие. Боль пересилила страх. Кони потолклись еще некоторое время на месте, потом разом взяли вскачь, словно с цепи сорвались.

Звери заметили добычу и с воем пустились за санями.

Крики: «Спасите! Спасите!» – доносились все явственнее.

## II. Опасная прогулка

Верстах в двадцати пяти от Москвы находилась усадьба боярина Луки Максимовича Шестунова. Усадьба эта мало чем отличалась от множества ей подобных, разбросанных по лицу Русской земли в тогдашнее время. Посредине обширного двора, обнесенного со всех сторон высокою и прочною городьбою из толстых кольев, высились боярские хоромы. Они были двухэтажные. Поднявшись на крыльцо, посетитель попадал в «многошумные» сени. Вправо от входа находилась светлица для приема гостей, рядом с нею столовая изба, за нею моленная и одрины, т. е. спальни. С другой стороны тянулись комнаты для холопей – челяди, их повалуши и кухни. Второй этаж – «бабье царство», женская половина дома – терем. Под домом находились подклети глухие – для запасов и жилые. Снаружи хоромы окрашены не были, но зато были украшены затейливою резьбою.

По двору были разбросаны в изрядном беспорядке служебные постройки. К двору прилегал сад, представлявший из себя, с одной стороны, остаток некогда росшего тут дремучего леса, а с другой – бывший вместе и огородом.

В одной из горенок сидели две девушки. Одна из них – невысокого роста, белолицая, с золотистыми волосами и ясными бирюзовыми глазами – была дочь хозяина дома, Аленушка; другая – темноволосая и черноглазая, стройная – приходилась Луке Максимовичу родной племянницей; она была круглая сирота, дочь его брата, Тихона Максимовича. Звали ее Дуняшей.

Обе девушки работали; Аленушка, сидя за пяльцами, вышивала, Дуняша трудилась над каким-то вязаньем. Однако работа, по-видимому, не особенно спорилась, потому что хозяйская дочь то и дело приподнимала голову и посматривала на окно, через которое врывались в комнату лучи зимнего солнца, а племянница, выпустив из рук вязанье, часто позевывала. Скука одолевала боярышень. Аленушка попробовала было затянуть какую-то песенку, но пенье не заладилось, как и работа.

– Не идет что-то сегодня мое вышиванье... Ну его! Не буду и работать, коли так! – воскликнула Аленушка, решительно бросая иглу.

– И у меня тоже не больно ладится, – ответила Дуняша. – Скучища смертная!

– Что и говорить!

– А погодка-то какая! Знаешь что, Дуняша, – быстро сказала хозяйская дочь, – бросим работу, поедem лучше кататься.

– Это б ладно! Да не пустит Марфа Сидоровна.

– Попросить ее поллучше... Авось... Побежим к ней!

И, не дожидаясь согласия своей двоюродной сестры, Аленушка, с легкостью лани, побежала из горницы. Дуняша побежала за нею следом.

Хозяйку дома, Марфу Сидоровну, они встретили в сенях. Она разговаривала с Панкратьевной, старухой-нянькой Аленушки, выростившей боярышню на своих руках. Боярыня, высокая, полная женщина, с лицом цвета красной смородины, с густыми короткими, взъерошенными бровями и быстрыми маленькими узкими глазками, производила впечатление бой-бабы. Панкратьевна была небольшая, согнутая летами, худенькая старушка с морщинистым лицом и добродушными подслеповатыми глазками.

– Что вы бежите, ровно с цепи сорвались? – зычным голосом спросила боярыня, увидев сбегавших с лестницы боярышень.

– А мы к тебе, матушка! – ответила слегка запыхавшаяся Аленушка.

– Что вам?

– Глянь, погодка-то какая!

– Ну?

– Пусти, матушка, покататься!

– Тетушка, голубушка, дозвожь! – поддержала просьбу Аленушки Дуняша.

– Нельзя! – отрезала Марфа Сидоровна.

Боярышни печально переглянулись.

Им на помощь явилась Панкратьевна.

– А ну, боярынька, – зашамкала она, – чего их не пустить? Знамо дело, молодые, погулять хочется. Что и дома-то им делать? Пушай прокатятся...

Боярышни на разные лады начали упрашивать Марфу Сидоровну. Та еще некоторое время упрячилась. Потом сдалась.

– Что с вами делать! Ишь, и Панкратьевна просит... Балует она вас, старая! Поезжайте, Бог с вами!

Девушки с радостными криками побежали одеваться. Скоро запряженный в сани старый Гнедко уже фырчал у крыльца, и Мартын, седобородый кучер, уже сидел на облучке.

– Ты смотри, Мартын, не вывали боярышень! – говорила Марфа Сидоровна, провожая девушек.

– Не-не! Можно ль такое! Слава богу! Сорок лет езжу! – ворчливо шамкал возница.

– Гнедко не понес бы грехом...

– Хе-хе! Где ему! Ноги еле волочит старый конь.

– Ну, с Богом!

Мартын дернул вожжами.

– Стой, стой! Аленушка!

– Ась?

– Надела ль душегрею под шубейку?

– Надела, надела.

– А ты, Дуня?

– И я тож.

– То-то же. Ну, поезжайте... Да, слышьте, не долго катайтесь...

Гнедко труском вывез сани за ворота.

– Вот и покатаемся! Лучше, чем за пальцами-то сидеть, – сказала Аленушка.

– Еще бы! – ответила ее спутница.

– Куда ж ехать-то нам, боярышни? – обернувшись, спросил Мартын.

– А где дорога получше, – промолвила хозяйская дочь.

– Да она везде теперь, почитай, хороша... К леску, что ль?

– Хоть к леску...

– Э-эй, Гнедка! Приналяг, старый! – прошамкал кучер, хлестнув коня.

Гнедко зачастил мелкою рысью.

Боярышни не были привычны к быстрой езде, и бег старого коня не казался им тихим. Говорили мало. Мороз слегка пощипывал щеки и заставлял боярышень кутаться в шубки.

Мартын хрипло мурлыкал какую-то песню, в которой упоминалось и о молодом ямщике, и о тройке лихих коней, и о красной душе-девице.

Аленушка прислушивалась к песне. Что-то вроде легкой грусти начинало шевелиться в сердце боярышни: пелось о той жизни, которая была недоступна для затворницы терема, пелось о любви и ее страданиях и радостях.

«Посажу мою любу в саночки, – мурлыкал возница, – заверну ее я шубкой соболиной, от мороза от трескущего, понакрою ее ноженьки расшитым ковром, узорчатым... Гей, вы, кони, кони борзые! полетите, словно соколы, унесите от злой мачехи, от угрюмого отца-батюшки! Опостыли мне и отчий дом, и родимая сторонушка: не велят тут мне любу целовать, замуж брать велят немилую... Ой, умчите, кони быстрые, за поля, леса дремучие, на край самый света белого – день-деньской там буду любушку целовать свою да миловать и тоску – змею подколодную – вон из сердца навек выгоню...»

«Приглянулась, знать, пареньку этому очень уж больно красная девица, что ее ради покинул он и отца, и сторону родную... Бывает же так ведь! Бывает – песня правду говорит: „сказка – складна, а песня – былль”, сказывают... Стало быть, это все – правда. Эх! Кабы меня полюбил так какой-нибудь паренек-красавчик!» – подумала Аленушка и вздохнула.

Думы Дуняши были иного рода.

«Отчего судьба так устроила, что приходится мне жить круглой сиротою? – думала Дуняша. – Ни отца родимого, ни матушки... Не с кем поделиться думушкой, отвести душу, если тоска в нее закралась... Чужие кругом... Правда, дядюшка не суров, не обижает меня и Марфа Сидоровна, а все не то... Аленушка мне подруженька добрая, а разве матушку заменит? Всего тоже ей не скажешь, что на душе есть. Вот, если муж хороший попадет, тогда сиротство свое можно позабыть... Да попадет ли хороший? Дурных-то людей на свете больше... И чего они меня замуж не выдают? Зажила бы своим домком... Ведь я хоть и сирота, а приданое у меня есть не малое, побольше, пожалуй, чем за Аленушкой. Всякий рад будет взять. А уж и любила бы я муженька своего!

Ни думушки скрытной, ни слова одного не потаила б от него, все бы поведала... Хорошо бы было! Сама хозяйка, никто не поперечит, только и власть надо мной одна – муж... Эй, скорей бы выдавали! Опостылело мне это девичество сиротское, тоскливое!...»

Теперь, когда обе девушки сидели рядом, можно было подметить разницу в характере их физиономий. Задумчивое, миловидное личико Аленушки было таково, что если б художнику потребовалось изобразить лик ангела, то он мог бы смело рисовать личико боярышни; этому не помешало бы и выражение легкой грусти, часто мелькавшее на ее лице и отражавшееся в бирюзовых глазах, которые, должно быть, чаще привыкли обращаться туда – к глубине синего неба, чем к темной земле; эта грусть, непонятная в девушке, еще не испытавшей горя, казалась прирожденной, свойством ее души, подобно тому как бывают люди, созданные быть вечно веселыми, по которым горе только скользит, не захватывает свою тяжелую волну, не изменяет их веселого нрава.

Ничего похожего на грусть не было на лице Дуняши; на нем часто выражалось недовольство, и тогда огоньки досады и гнева вспыхивали в ее темных глазах; легкая складочка между бровями над переносьем была еще мало заметна, но с годами грозила обратиться в суровую морщину; алые пухлые губы говорили, что в душе темноволосой боярышни дремлют кипучие страсти; острый подбородок указывал на твердую волю, граничащую с упрямством.

Которая из боярышень была красивее – трудно было решить: слишком различна была их красота: одна была ближе к небу, другая – к земле.

Старый Мартын, мурлыкая песню, забыл погонять Гнедку, и предоставленный собственной воле конь не торопился, бежал легким труском. Пока добрались до леса, прошло добрых два часа.

Лесок мог быть назван этим уменьшительным именем только разве при сравнении с вековым первобытным лесом. На самом деле это был довольно большой и густой лес, в котором встречались сосны и ели толщиной в два обхвата. Иней серебрился на ветвях, местами белели на темно-зеленом фоне хвои пятна снега, задержанного частыми сучьями, слегка согнувшись под его тяжестью. Косые лучи солнца, прорезая лес, кидали на снег длинные тени и заставляли искриться иней.

– Как хорошо тут! Красив лесок-то вот этак зимой при солнце и совсем не похож на тот, каков летом бывает! – воскликнула Аленушка, любясь лесом.

– Эх, боярышня милая! Таков ли лес этот был годов десятка четыре назад! Вот тогда точно стоило посмотреть! – сказал Мартын, поворачивая к боярышне свое морщинистое лицо. – Деревья все что на подбор – плохонькое двум еле-еле обхватить!.. Да! А это что! Так, лешишка! Я мальцем махоньким был, когда зачинали помаленьку лес-от вырубать, а к той поре,

как мне пожениться, уже добрая половина порублена была, теперь же, почитай, все деревья перечесть можно.

– Видно, что лес хорош был.

– Уж так-то хорош, что и сказать нельзя! А ягод в ем было, грибов, доложу тебе, страсти Божии! Пойдешь это, бывало...

Старый кучер хотел завести речь о том, как в детстве он бегал в лес с лукошком за грибами, и какие грибы попадались, и какие ягоды больше росли, но ему не пришлось рассказывать: протяжный вой раздался неподалеку.

– Что это? – в один голос спросили боярышни.

Но Мартын не ответил; с ним сделалось что-то необыкновенное: он вдруг, сплеча, начал нахлестывать Гнедку. Однако старый конь теперь мало нуждался в подбадривании: он скакал со всех ног к дому, – откуда и прыть взялась! – поводит ушами и испуганно-жалобно ржал.

– Аленушка! – испуганно воскликнула Дуняша. – Сдается мне, что это волки воют!

– Что ты! Правда, Мартын? А?

– Молитесь Богу, боярышни, чтоб удалось нам уйти от зверя лютого. Голодны они теперь – разорвут! – ответил возница, не переставая нахлестывать коня.

– Господи! – в ужасе вскричали девушки.

Между тем из лесу показался сперва один, старый, матерый волк, понюхал воздух и завыл, поджав «полено»<sup>1</sup>. На его призывной клич выбежало сразу около десятка, там еще и еще, и вся стая, воя и щелкая зубами, кинулась следом за санями.

Сперва звери старались держаться в некотором отдалении от путников, потом сделались смелее. Кое-кто из них попытался обогнать Гнедку и вцепиться ему в горло.

Старого коня легко было обогнать, но не так-то легко взять. Ему приходилось видеть на своем веку всякие виды.

Он сам словно озверел: фыркал, ржал не переставая и бил на скаку передними и задними ногами; смельчаки волки испытали на себе, что ноги старой лошади еще достаточно сильны, чтобы разбить челюсть или раскроить голову.

Аленушка плакала, в ужасе закрыв лицо руками, Дуняша сидела бледнее снега и, дрожа, шептала молитвы.

Опасность увеличивалась с минуты на минуту. Скоро волки перешли в прямое наступление; двое из них хотели прыгнуть в сани, но не сумели, один едва не вонзил своих зубов в Аленушку: боярышню спасло только то, что Дуняша успела вовремя отклонить ее в сторону.

– Будем кричать!.. Авось, кто услышит, прибежит на помощь, – промолвил Мартын и сам первый завопил: – Спасите, православные!

– Спасите, спасите! – подхватили боярышни.

---

<sup>1</sup> Хвост.

### III. В усадьбе

В светлице хором Шестуновых, за столом, уставленном разнообразными снедями, сидели двое молодых бояр. Это были Алексей Фомич и Павел Степанович. Против них помещалась Марфа Сидоровна.

– Пудовую свечку поставить надо Царице Небесной, что спасла она девиц моих от гибели! Что приключиться могло – и подумать страшно! А уж вас, соколики, я и спасибо сказать не знаю как! – говорила боярыня. – Приедет Лука Максимыч из Москвы с Андрюшей, скажу им – пусть надумают, чем отплатить вам за добро ваше.

– Полно, боярыня! Что же мы сделали такого уж больно особенного? Всякий христианин православный на нашем месте то же сделал бы... – скромно заметил Алексей Фомич.

– Точно... Самое пустое что ни на есть дело, – промолвил Павел Степанович.

– И слышать таких речей не хочу! – замахала руками Марфа Сидоровна. – Жизнь троим людям спасли, а они говорят: пустое дело! Али они целы да живы остались бы, коли б вы их к себе в санки-то перетащить не успели? Волки-то ведь что бешеные теперь. Известно, с голодухи... Да что ж это вы, бояре честные, кушаете не по-крещеному? Больше глядите, чем в рот кладете... Так у нас не водится! Грибочков-то что ж вы? Самые маленькие солить-то я клала... А рыбки? А вон баранина... Гуском-то чего ж брезгаете?

Дома выкормлен, в мешках гуськи у меня недели две сидели... Жирок – во рту тает! Звери, говорю, ныне что бешеные... Гнедко-то один прибег домой, а то искусан – живого места нет. Падет, пожалуй. Ну да Бог с ним – старый конь, отслужил службу. Будь в саях седоки – ни коню, ни им дома век не бывать бы... Эх, я, баба не умная! Ведь впопыхах забыла я и об именах ваших спросить! Простите меня, недоумку, да поведайте.

Бояре назвали себя.

– Белый-Туренин! – вскричала боярыня, услышав фамилию Павла Степановича. – Степана Антоныча сынок?

– Да.

– Да ведь я твоего батюшку преотлично знаю! Лука-то Максимыч с ним сколько годов хлеб-соль водит... В доме у твоего батюшки много раз бывала, с матушкой с твоей, с Софьей Григорьевной, в приятельницах была. Давно теперь с нею не виделась, лет больше десятка считать надо. С той с самой поры, как сюда в вотчину с Москвы перебралась. Теперь припоминаю – тебя вот таким мальцом видела. Конечно, раньше-то признать было трудно, а теперь вспомнила. Что, здорова ль Софья Григорьевна?

Радуюсь, что нашла знакомого человека в лице Павла Степановича, боярыня сперва засыпала его расспросами о житье-бытье ее старинной приятельницы, потом начала рассказывать, как она жила в Москве, езжала к Софье Григорьевне, как та к ней, как угощали друг дружку, какие случаи с ними, или на их глазах, или во время их знакомства приключались. За этими расспросами да рассказами трапеза затянулась довольно долго, так что, когда бояре поднялись и стали прощаться, оставалось уже немного времени до сумерек короткого зимнего дня.

На прощание боярыня опять осыпала бояр благодарностями за спасение дочки и племянницы, крепко наказывала им не забывать приехать погостить в усадьбу, послала с Павлом Степановичем сотню низких поклонов его отцу с матерью, родственникам и знакомым и наконец отпустила, снарядив десяток холопей проводить гостей на несколько верст от вотчинки, чтобы не напали волки.

– Тебе которая из боярышень приглянулась больше? – спросил, въезжая в Москву, Алексей Фомич своего приятеля.

Тот был не в духе, что охота не удалась.

– А не знаю... Обе смазливые... – нехотя ответил богатырь.

– Голубоглазая куда лучше той другой! – воскликнул князь.

– Лучше так лучше. Не все ль равно? Не ладно вот, что медведя поддеть на рогатину не пришлось...

Молодой князь ничего не сказал в ответ приятелю. Он задумался; ему казалось, что эта златоволосая голубоглазая боярышня была его таинственная «она».

## IV. Думы «слуги государева»

В ночь накануне Крещения в обширной светлице боярина Бориса Федоровича Годунова крупными шагами прохаживался высокий плечистый мужчина.

Светлица была убрана богато. Древняя русская роскошь в ней смешалась с европейской. Лавки, тянувшиеся вдоль стен, были покрыты красными атласными вышитыми полавошниками; у одной из стен ближе к тому углу, где виднелись иконы в золотых окладах, сиявших, при огне лампад, блестками от усыпавших их самоцветных камней, стоял стол; в противоположном углу помещался поставец, полки которого ломились под тяжестью лежавших на них серебряных и золотых кубков, чарок, блюд, тарелок и других предметов обихода. Все это было чисто русским, подобное убранство – конечно, только более бедное – можно было встретить в любом боярском доме. К русской же обстановке подходила и печь, пестро раскрашенная доморощенным живописцем, и стены, на которых не совсем ловкою кистью того же мастера были изображены библейские сцены. Но большое кресло, точеное, отделанное серебром по темному фону, стоявшее перед печью, было, очевидно, заморской работы. Находилась в светлице и еще одна диковинка, привезенная из немецких стран, – боевые часы<sup>2</sup> – предмет гордости хозяина и удивления его гостей.

Однако роскошь обстановки не занимала находившегося в светлице мужчину; не привлекали его внимания и часы, только что пробившие полночь. Привык он ко всему этому, прелесть новизны давно уже исчезла, уступив место равнодушию, и теперь он, погруженный в думы, грузно ступал по дорогим мягким коврам, устилавшим пол, смотрел прямо перед собою, точно приглядываясь к чему-то, что было для него куда заманчивее роскоши покоев.

Человек этот был сам хозяин дома, правитель царства Русского, носивший титул «слуги государева», – Борис Федорович Годунов. На вид ему казалось лет немного более сорока. Он был строен, широкоплеч и красавец лицом. Свет от двух свечей в резных подсвечниках, стоявших на столе, падал на него. Простая домашняя ферязь темного цвета оттеняла его белое лицо, обрамленное недлинною, но густою бородой, правильный нос и высокий лоб казались выточенными из слоновой кости и не испортили бы красоты какого-нибудь классического мраморного бога; из-под тонких, теперь слегка насупленных, бровей задумчиво смотрели глубокие, темные глаза – редкий мог выдержать их пристальный взгляд!

Ночь была бурная, ветер колебал деревья в саду, и шум ветвей и завывание бури долетали до слуха Годунова. Эта бурная погода была под стать душевному настроению правителя: на душе у него было тоже бурно. Думы теснились в его голове. Гордые и беспокойные думы! Тот роковой вопрос, который уже много веков повторяет в глубоком раздумье несчастный датский принц, вставал перед ним.

– Быть или не быть? – было огненными буквами начертано в его смятленном мозгу.

Царская шапка и власть над необъятным царством, или монастырская келья в дальней обители, или позорная ссылка, быть может даже казнь, – что готовит судьба? Царь Федор умирает. Лекаря-немчины не скрывают от Бориса Федоровича, что роковой исход неизбежен – слишком изнурено тело царя постами, долгими молениями и другими аскетическими подвигами, – ему не выдержать борьбы с тяжелым недугом. Царь бездетен... Кто наследует ему?

Впились до боли белые зубы правителя в губу, руки крепко сжали одна другую, и в голове проносится: «Я должен быть царем! Ужели прогадал! Ужели я даром столько лет добивался этого?.. Все шло ладно с самой кончины царя Иоанна. Я уже и теперь почти царь, только не венчанный... Феодор! Ха! Про него сам его грозный отец говорил, что ему нужно было родиться

---

<sup>2</sup> Часы эти были подарены правителю Годунову 22 мая 1597 года императором австрийским. В записях того времени часы эти названы «стоячими боевыми с знамени небесные».

не царем, а монахом! Феодор! Это – тень царя, это – инок, одетый в царское платно!<sup>3</sup> Царством правил я! Я один, не советуясь и с Думой боярской... Был наследник – Димитрий... Он погиб. Умрет Феодор – царский корень пресекается... Я правил, я должен и дальше править... Должен, должен! Изберут ли меня? Народ подготовлен – не из таковых я, чтобы зевать... Там слух пустим: хан Крымский идет с полчищами несметными... А царство без главы... Как быть в такой напасти? Кто прежде из всякой беды царство выручал? Борис Федорович! Так пусть и теперь спасет от гибели Русскую землю... Здрав будь, царь православный, Борис Федорович!»

Последние слова Годунов произнес вслух и сам вздрогнул.

– Господи! Если б так! Ух! Высь какая!

И Годунов даже прижмурил глаза.

«Вороги есть у меня лютые... Почитай, все бояре, особливо Шуйские. Ох, эти! Василий Шуйский – враг лютейший и хитрый, ловкий... Ничего открыто, все тайком, за спиной... Сам в цари метит – потомок он князей древнерусских... Да... А я – потомок мурзы татарского... Так что ж? Зато я – брат царицы Ирины! Это посильней родovitости будет... Если б узнать, что ждет меня – царская шапка либо опала?.. Чего бы я ни дал! У нас в Москве знахарь есть... Кузьмичем звать. Живет он, помнится мне, на Неглинной, у мельницы...<sup>4</sup> Сказывают, ведун лихой – всю судьбу, как на ладони, представит... Попытаться бы расспросить. Ко мне позвать – толки пойдут, еще скажут, грехом, что я, на здравие царево злоумышляя, с ведунами советуясь... К тому же, пока позовешь... Вот если бы самому пойти...»

Правитель подошел к переборчатому окну, не закрытому внутренними ставнями, против обыкновения. Темная ночь смотрела на Бориса Федоровича. Буря по-прежнему злилась. Только порою ветер разгонял облака, и тогда выглядывал край луны; сад, кровли домов и колокольни обдавались на мгновение неясным, бледным светом, потом облака смыкались, и все снова погружалось во тьму.

«Ох, непогодь какая! – подумал сперва Годунов, потом мысль начала работать в другом направлении: – Зато в такую погоду никто не встретит... Положим, время позднее и так все, чай, спят сном крепчайшим, а все-таки... Опять же месяц порой проглядывает – дорогу найти можно... Пойти разве?»

Он колебался. Пробраться ему, правителю, глубокою ночью к избе какого-то знахаря казалось чем-то невозможным.

Но желание попытать судьбу разгоралось все сильнее. Кончилось тем, что Борис Федорович, как вор, пробрался по своему собственному дому, прошел неслышно мимо нескольких сморенных сном холопей, обязанных бодрствовать, пока не уйдет на покой в свою опочивальню их господин – как бы строго наказал в другое время Годунов беспечных рабов! – отыскал шубу, накинул ее на плечи, сунул в карман пистоль заморской работы и покинул свое жилище.

Двор был пуст; калитка была приперта на задвижку, и дворовый страж, завернувшись в теплый тулуп, мирно спал, подобно холопам. Все это различил правитель при сиянии проблеснувшей сквозь облака луны.

Отодвинув задвижку, он тихо открыл калитку и вышел на улицу.

---

<sup>3</sup> *Платно* – нечто вроде порфиры.

<sup>4</sup> В Москве в то время существовало несколько мельниц в черте города: одна была на Неглинной, другие на Яузе.

## V. Горе и радость

Лачужка Ивана Безземельного, затерявшаяся среди многих таких же, как она, убогих жилищ на одной из самых глухих улиц Москвы, трещала под яростными порывами ветра.

В избенке было темно и холодно. Грустны были минувшие праздники для Ивана! Всегда плохо жилось ему, но в Рождество этого года пришлось площе, чем когда-либо. Заработки прекратились за праздничным временем, и семья перебивалась кое-как. Надежда была: окончатся праздники – найдется работа. Однако Ивану решительно не везло: праздничное время миновало, а желанной работы не нашлось. Голод начал давать себя сильно чувствовать; со дня на день все хуже жилось, и наконец настал день, когда Ивановым ребятишкам не удалось пожевать даже корочки черствого хлеба – это было в Крещенский сочельник. Пришлось в ночь под Крещение ложиться спать голодными. Свернулись ребятишки калачиком, прикрылись кое-какими лохмотьями, но не спят; не спится и самому горемычному хозяину, и его жене.

Встал Иван, высек огня и затеплил огарок лучины. Неясный свет озарил убогую хату. Маленький Миколка выставил из-под лохмотьев, служивших ему одеялом, свою белобрысую головенку и пролепетал:

– Тятка! Хлебушки дашь?

Мать и отец печально переглянулись.

– Нет хлебушки, родной... Подожди, потерпи, касатик! авось, утрешком раздобуду... – ответил ему Иван.

– Ай-ай, как есть охота!.. – жалобно протянул ребенок и снова было прикурнул, но вдруг опять поднял голову и воскликнул: – А ты б, тятя, у Кузьмича хлебушки попросил. У него есть!

– Не даст Кузьмич... – пробормотал отец.

– Тятя! Подь попроси! – дружно поддержали просьбу Миколки его сестренка и два братишки, тоже вынырнувшие из-под лохмотьев, услышав, что речь ведется о хлебе.

– И впрямь, Иванушка, поди попроси... – промолвила хозяйка.

– Знаю я Кузьмича, сквалыга он, не даст!..

– Тятя, добудь хлеба!

– Неужели и для праздника завтрашнего откажет? Знахарь он, ведун, а все ж крест на шее носит. Глянь на ребятишек – подвело их совсем от голодухи.

– Не даст... Лучше обождать до утра. Авось, Бог пошлет.

– Не можно ждать! Помрем, кажись, так-то!.. – вопили дети.

– У соседей бы призанять, – сказал Иван.

– У кого? Я уж днем всех обегала – голодуха не лучше нашего... Поди к Кузьмичу-то...

– Я не прочь, а только... Э! была не была! пойду! Кинусь в ноги ему, молить буду... Ужли сердце его не тронется? – решительно проговорил хозяин.

Миколка вскочил со своего ложа и захлопал в ладоши.

– Тятка хлеба добудет! Ай, любо!

– Погодь, милый, добуду ль еще... – с грустной улыбкой заметил отец.

– Добудешь, уж я знаю! Ты всегда так говоришь: «Не добуду», а сам, глядь, и притащишь! – весело кричал ребенок.

Пленительная мысль о хлебе оживила детей; они заговорили все разом, торопили отца...

– Молитесь, ребятишки, чтоб Бог хлеба послал, – проговорил Иван и, накинув на свое длинное, тощее тело обрывок овчины, имевший очень отдаленное сходство с кожухом, перекрылся, вышел из хаты.

– Родные! Помолитесь, как тятя сказывал, – промолвила мать.

Опустились дети на колени, часто-часто их худенькие ручки начали творить крестное знаменье, и маленький Миколушка лепетал:

– Боженька! Пошли нам хлебушки!

Иван между тем торопливо шел к избе знахаря Кузьмича. С дороги он не боялся сбиться, несмотря на темноту, – он знал ее хорошо, кроме того, изба ведуна была недалеко.

«Даст ли, старый, хлебушки? – думал Иван. – Хоть бы краюшечку заплеснелую... Все детки отвели бы душу... Бедные мои, горемычные! Буду в ногах у него валяться, слезно молить... Поверну на милость его сердце... Ужли не даст? даст, даст! – почти с уверенностью подумал Иван, забыв, как несколько минут назад был твердо уверен в противном. – Даст! Бог пошлет для детушек!».

И несчастный мужик решительно постучался в дверь избы Кузьмича.

\* \* \*

Тихо в избе Ивана. Лучина догорает, но хозяйка не думает вставлять в светец новую. Задумалась она, низко уронив на грудь голову. Дети присмирели. Они ждут, напряженно прислушиваясь к каждому шороху, не отец ли идет. В их представлении появление отца связывалось с появлением хлеба. Они не сомневались, что попытка отцова добыть «хлебушки» увенчается успехом. Миколушка уже мечтал о том, как он будет смаковать хлеб, какой он душистый, мягкий...

Чу! Шорох! Все встрепнулись. Но это не отец, это ветер стукнул дверью в сенях. Опять все притихли. Вдруг Миколушка вскочил.

– Тятка! – вскричал он.

Действительно, с крыльца ясно донесся шум шагов. Дверь распахнулась, и в комнату вошел Иван. Взглянула на него жена и ахнула: он был бледен как мертвец.

Дети воскликнули:

– Принес хлебушки?

Отец не отвечал им. Он сбросил овчину и грузно опустился на лавку.

– Что же хлебца, тятка? – спросил Миколка, тараща свои обведенные синевой глазенки.

– Нетути хлебца, касатик!.. – не сказал, а скорее простонал Безземельный. – В ногах у Кузьмича валялся – не дал!

Иван закрыл лицо руками. Миколушка уткнулся лицом в колени матери и заплакал, приговаривая:

– Ах, как есть хочется!.. Хлебушки бы!

Другие дети грустно поникли головой.

Отдернул руки от своего лица Иван, посмотрел на семью: дети сидели, как замерли, Миколушка плакал, по бледно-желтому исхудалому лицу жены медленно катились крупные слезы.

Ни слова не сказал Иван, встал и опять накинул на плечи овчину. Потом взял со стола большой хлебный нож.

– Ты куда, Иванушка? – спросила, сквозь слезы, хозяйка.

– Куда? – глухо ответил муж. – Хлеба добывать! Ну и не поздоровится же теперь тому, кому со мной повстречаться придется! Уложу его – не пикнет!

И он потряс в воздухе ножом.

– Иван! Побойся Бога! Что ты надумал! – в ужасе вскричала жена.

Но Иван, не ответив, вышел из избы.

\* \* \*

– Ну и темь же!.. Да и погода ж! Эвон и избы его не найдешь... Долго ль мимо пройти в мраке таком?! И луна, как на грех, реже проглядывает... И понесла меня нелегкая! Экую

глупость сотворить, – ворчит, кутаясь в шубу, боярин, грузно ступая по сугробам снега одной из глухих улиц Москвы.

Вдруг он почувствовал тяжелую руку на своем плече, и глухой голос проговорил над его ухом:

– Скидай шубу, боярин, да молись Богу... Конец тебе пришел!

Холодное лезвие ножа коснулось его горла. Однако путник не потерялся. Он с силою оттолкнул грабителя.

– Молись сам лучше о душе своей грешной – пристрелю! – грозно воскликнул он.

Слышно было, как щелкнул курок пистоли.

Луна проглянула из-за облаков и осветила лицо боярина.

– Правитель Борис Федорович! – в ужасе вскричал разбойник и вдруг бухнулся на колени. – Прости! Не погуби! – завопил он.

– Брось нож! – приказал Годунов.

Иван – это был он – далеко отшвырнул ножик.

– Смилуйся! Не ради корысти – ради хлеба пустился на такое! – продолжал молить Безземельный.

– Не врешь? – спросил правитель, смотря на лицо разбойника, казавшееся еще бледнее от неясного лунного света.

– Вот те крест! Посмею ль врать... Дети с голоду помирают. Хлеба корки черствой нет...

Годунов молчал.

– Ладно... После потолкуем... – наконец промолвил он. – Избу Кузьмича знаешь?

– Ведуна-то? Как не знать! Тут недалече.

– Вставай да проводи меня к нему.

– Боярин! Простил ли ты меня, окаянного? – причитал Безземельный, все еще не поднимаясь с колен.

– Сказал – после потолкуем. Веди! – приказал Борис Федорович.

Иван поднялся.

– Ступай впереди. Да помни – пистоль у меня наготове. Чуть что – пристрелю!

– Помилуй, боярин! Да нешто у меня креста на шее нет, чтоб я...

– Ладно, ладно! Веди уж знай!

Они зашагали. Луна то показывалась, то скрывалась. Иван вел Годунова по узким переулкам. Вышли к устью Неглинной.

– Вот и его лачужка... – сказал Безземельный.

Годунов различил покосившуюся ветхую избенку.

– Спасибо. Скажи, будешь еще промышлять разбоем? – спросил Борис Федорович.

– Ни в жисть! Впервой ведь сегодня вышел... Слава богу, не попустил Он до греха.

– Тебя как звать?

Недавний грабитель испуганно взглянул на Годунова:

– Не погуби! Отпусти!

– Да я не хочу губить тебя!

– Зачем же спрашиваешь, как звать?

– Мое дело. Говори!

– Иваном Безземельным... – уныло проговорил тот.

– Узнаю, каков ты человек. Коли взаправду только впервой, да и то с голоду, на разбой вышел – не забуду тебя милостью; если соврал ты – тогда берегись!

– Ей же богу!..

– Хорошо! А теперь запомни: ни отец родной, ни мать родная слова единого слышать от тебя не должны о том, кого ты тут видел. Затаи в душе это и крепко храни до скончания

живота. Слово проронишь – себя погубишь. От меня никуда не сокроешься – на дне речном в песок заройся, и то сыщу! – грозно произнес Годунов.

– Вот те крест святой, что слова никому не пророню!

– Тот-то. А теперь получи пока... Держи руку.

Иван задрожал от восхищения, почувствовав в руке холод нескольких крупных монет.

– Теперь беги отсюда не оглядываясь!

Безземельный не заставил повторить приказания.

– Жена! Детушки! Молитесь Господу! Благодарите Его, Создателя! – прерывистым от радости голосом воскликнул Иван, вбежав в свою хату...

– Хлеба принес? – в один голос разом спросили дети.

– Будет вдосталь у нас хлеба! Гляньте!

И он высыпал на стол золото.

Жена вздрогнула.

– Грешные деньги, Иван! – печально заметила она.

– Нет! Честно достались оне мне! Не допустил меня Бог пролить кровь христианскую.

– Откуда же оне?

– Оттуда! – поднял кверху руку Иван.

Потом он упал на колени, устремив глаза на прикрепленный в уголку почерневший образок, и стал истоиво осенять себя крестным знаменем. Потом обернулся к детям:

– Помолитесь, родные, Господу, что спас Он тятку вашего от греха великого, что послал хлебушки... Жена, молись и ты!

Глубокая тишина наступила в хатке, только шепот молитвы нарушал ее.

## VI. Два гаданья

Не спится боярышне Аленушке. Быть может, ей мешают спать завывания ветра? Нет, нето! Не дают покоя ей думушки, которыми полна ее хорошенькая головка.

Странные думы, никогда таких у ней не бывало! Прежде она тоже любила мечтать, и бессонные ночи ей знакомы. То были светлые мечты полуробенка, порожденные пытливым, жаждущим познания умом. Теперь не то. Теперь мечты ее связаны с обликом молодого боярина, даже, вернее, не только связаны, но и порождены им.

Пылкое воображение девушки живо рисует его. Мерещатся задумчивые очи боярина, кажется, смотрят на нее из полумрака тускло освещенной лампадой опочивальни, манят к себе... И она готова ответить на этот призыв, не хочет противиться их таинственной притягательной силе...

– Аленушка! – доносится до нее сдержанный шепот Дуни, постель которой находится в той же спальне, где и Аленушкина.

– Ась?

– Не спится тебе, кажись?

– Да. А тебе?

– Мне тоже.

Немного помолчали.

– Знаешь что, Аленушка... – снова зашептала Дуняша.

– Что?

– Ведь сегодня в последний раз гадать можно... После целый год ждать...

– Да... Крещенский вечер. Верней, ночь...

– Погадать бы...

Аленушка быстро приподнялась с постели.

– А что, правда?..

Приподнялась и Дуняша.

– Давай погадаем... А? – почти просительно проговорила она.

В иное время тон и видимое волнение Дуни удивили бы ее родственную подругу, но теперь она сама была взволнована не меньше ее, поэтому ничего не заметила и отрывисто спросила:

– Как?

– Хоть над кольцом погадаем...

– Воды надо раздобыть...

– Это живой рукой!

Словно стоворясь, боярышни разом встали с постелей.

– Услышат, пожалуй... – тихо промолвила Аленушка.

– Кому услышать? Марфа Сидоровна спит крепко-прекрепко... Слышь, храпит за стенкой? Панкратьевна, которая спит недалеко, уж по одному тому не услышит, что туга на ухо. Про других холопок и говорить нечего. Кто ж услышит? Обожди малость – я проберусь, принесу две чаши с водой... Кольцо-то у нас есть...

Неслышно ступая, Дуня вышла из опочивальни. В ожидании ее возвращения Аленушка отыскала восковую свечу, затеплила ее от лампы, шепча:

– Прости, Господи, грех мой великий!

Затем она поставила свечу на стол.

Скоро вернулась Дуняша.

– Вот, раздобыла, – сказала она, ставя на стол две чаши, доверху полные водой. – Теперь только кольца опустить...

Дуня была бледнее обыкновенного, Елена волновалась до того, что ее руки дрожали.

– А вдруг увижу я лицо его!.. – промолвила она.

– Кого «его»? – быстро спросила ее родственная подруга.

Аленушка слегка покраснела.

– Того... Темнокудрого... – пробормотала она.

– А!.. – равнодушно протянула Дуня, потом добавила: – Ну, давай смотреть.

Девушки склонились над чашами. Глубокая тишина настала в комнате. Только слабо доносившееся из-за стены храпенье Марфы Сидоровны да завывание ветра нарушали молчание ночи.

– Мне страшно, Дуня... – прошептала Аленушка, слегка приподнимая от чаши голову.

– Пустое!.. Что может стать с крещеным человеком? – ответила та, но у самой зуб на зуб не попадал от страха.

Не моргая смотрит боярышня Елена Лукьянична в таинственный круг кольца. Свет свечи проникает до дна чаши, блестит кольцевой обод. Больно глазам смотреть так напряженно. Слезы проступают и от страха, и от напряжения. Одна скатилась, упала в воду... Маленькая волна пробежала по поверхности воды, светлые тени прошли по дну чаши. Таинственный круг, обведенный золотой полосой, словно потемнел. Что это? Там что-то виднеется. Неясно, как сквозь туман. Лицо... Да, задумчивое, грустное. Точно слезы видны на глазах...

«Милый! – проносится в голове девушки, но она тотчас же спохватывается: – Почему „милый“? Можно ль так звать „чужого?!“ – укоряет она себя и краснеет, но страха не чувствует, хотя случилось то, чего она боялась: показалось «его» лицо. Еще ниже склоняется она к чаше.

Дуняша сидит над чашей, не шелохнется. У ней не то, что у подруги, – огонек свечи не освещает дна чаши, в тени оно, и ободок кольца тускло желтеет на нем. Успокоила она Аленушку, сказала, что пустяки, нечего бояться крещеному человеку, а сама чует, как все тревожнее бьется ее сердце и от страха кровь от лица отливает. Мураши холода по телу бегут, хоть опочивальня жарко натоплена... Слезы застилают глаза. Разрастается, раздается во все стороны желтый круг кольца, почти все дно занял. То уже он, то шире, и стенки его то тянутся кверху, грозят с краями чаши вровень стать, то вдруг опадают, золотятся едва заметной полоской. Пробегают какие-то волны... Не знает девушка, волнуется ли это поверхность воды оттого, что стол слегка качнулся и это легкое волнение отражается в круге кольца, или это по самому дну пробегают таинственные волны. Тише, тише бегут, остановились... и замерла девушка в суеверном ужасе.

Перед нею уже не потемнело дно чаши – перед нею большое поле. Она видит, как колеблется ветром высокая трава... Мрачно. Свинцовые тучи нависли, все подернуто темною дымкой, нигде ни одного светлого пятнышка... Кто-то мчится по полю на вороном коне. Кто ездок? Она всматривается и узнает: это – «он», тот высокий красавец-боярин!.. Крепко колотится сердце в груди Дуняши. «Он, он! сокол мой!» – шепчет она. Но что это? Он не один на коне. Кого держит он в своих объятиях? Это – женщина... Не она ли, Дуняша? Кровь застучала в висках боярышни... «Я, я с ним!» – шепчет она радостно.

Посветлело поле... Выглянул луч солнца из-за грозовой тучи... Луч его упал на всадника и его спутницу. Золотом сверкнули на солнце косы той, кого он сжимает в объятиях...

– Не я! – громко воскликнула боярышня и отшатнулась от чаши.

– Что ты? – вскричала Аленушка, оторвавшись от гаданья.

Дуня ей не ответила. Она стояла бледная как полотно, сдвинув брови, заломив руки.

– Не я! – вторично воскликнула она и вдруг подбежала к постели и кинулась лицом в подушку.

Двоюродная сестра с удивлением посмотрела на нее.

«Что с нею?» – подумала она и спросила:

– Дуня, али страшное что привиделось?

Та не отозвалась. Аленушке показалось, будто она слышит ее глухие рыдания.

## VII. У ведуна

Ветхая лачужка Кузьмича тряслась от набегов ветра. Хозяин ее не спал. Дрожащий пламень лучины освещал космы его седых волос, желтое морщинистое лицо, крючковатый нос и жидкую бородавку клином. Перед ним на столе стояла плетенка из березовой коры. Пальцы старика то и дело опускались вглубь и вынимали монету. Старик подносил ее к своим подслеповатым глазам, вертел некоторое время в руках, потом, вытерев об одежду, опускал на стол, на котором стояло уже немало равных столбиков из подобных желтых и белых кружков.

– С голоду, говорит, детишки помирают, – ворчал Кузьмич. – А мне что за дело? Да пусть хоть все переколют. Сам виноват – зачем народил. Хлебушка, говорит, дай... Ишь ты! За хлеб-то деньги платят! – «У тебя запасец есть»... – Есть, как не быть! Да не про тебя. Скопи сам запасец, тогда и раздавай! Сперва плакал, в ногах валялся, потом, ирод, ругаться начал. Колдун, говорит, старый, такой-сякой, уже черти в аду будут тешиться над твоей душенькой...

– Это, братику, еще когда будет что! А пока – у меня вот есть и хлебушка, и деньжонки, а у тебя, кроме блох, ничего, ха-ха!.. Те-то ведь не купленные... А у меня – вон!.. Ишь, желтеют, голубчики!.. Ты наживи да потом и раздавай, а я не таковский. Шалишь, брат! Многого захотел – всех нищих и царю не перекормить. Помирают с голоду ребята... Ха! Да переколейте все вы, провал вас возьми!

Послышался громкий стук в дверь.

Старик вздрогнул, поспешно сгреб в плетенку монеты со стола, кряхтя приподнял половицу и скрыл под нее свое сокровище.

Стук послышался снова, и к нему присоединился возглас:

– Отворяй живей, колдун!

– Что за леший в дверь долбит? – визгливым голосом закричал ведун. – Кого нелегкая принесла в такую пору и непогодь? Спать иди, непутный, да и другим покой дай!

– Отворяй, старый черт! Смотри, двери выломаю! – послышался грозный ответ.

– А ну, ну, выломай! – крикнул старик, полагавший, что хоть и старые, но еще крепкие дубовые двери не подадутся.

На дверь посыпались удары. Колотили чем-то твердым. Двери заскрипели, одна доска дала трещину. Скрыга старик изменил тон:

– Будет те, будет те! Чего колотишь! Дверь, грехом, сломаешь... Уж и пошутить нельзя – осерчал! Полно, добрый человек. Скажи лучше, что надобно?

– За советом к тебе...

– О чем?

– О судьбине своей.

– Гадать, стало быть... Ну, брат, не вовремя – на покой ложусь. Утречком приди.

– Сейчас надо!.. Пусти.

– Не можно...

Удары опять посыпались на дверь.

– Да иди, иди! Что с тобой делать?! – пробормотал ведун, отодвигая засов, между тем как другою рукой сжал, про случай, конец топорища.

Дверь со скрипом отворилась. Вошел высокий закутанный в шубу до самых глаз боярин. Кузьмич встретил его низкими поклонами.

– Добро пожаловать, милостивец... Ведь я не знал кто... Думал, недобрый какой человек... Прости меня, старика глупого. Присаживайся к столику на лавочку, дай я вот только пыль с нее смахну... – зататорил колдун.

Посетитель обвел взглядом избу. Обстановка ее была довольно странна. Повсюду лежали мешки и мешочки всяких форм и видов, с потолка спускались длинные нити каких-то сушеных

трав, на лавке, в разных местах, валялись пожелтелые и почернелые кости животных, а может быть, и человека, в самом углу скалил зубы большой череп собаки или волка. Большой черный кот смотрел с печи на боярина своими зеленоватыми глазами. Воздух был сперт и наполнен пряным запахом трав.

– Вот и готово... Садись, боярин! – повторил приглашение старик.

Посетитель опустился на лавку.

Ведун уселся напротив него, ближе к печке. Кот неожиданно спрыгнул с печи на плечо своего хозяина и спокойно замурлыкал, уставясь на гостя.

Боярин вздрогнул от неожиданности и сделал легкое движение. От этого воротник шубы открыл лицо ночного посетителя. Гость тотчас же запахнул по-прежнему воротник, но Кузьмич уже успел скользнуть взглядом по лицу боярина.

На мгновение на лице ведуна выразилось удивление, но он тотчас же оправился и, радостно блестя глазами от предвкушения хорошей полочки, спокойно спросил:

– Так тебе погадать?

– Да.

– О чем? Полюбит ли тебя красна девица, будешь ли богат, будет ли царь-осударь к тебе милостив?

– Просто о судьбине, какова будет, что впереди меня ожидает.

– Можно... – протянул ведун, – Трудненько это, но ты меня не обидишь, вознаградишь как следует... Того ради можно и потрудиться. Обожди малость!..

Знахарь кряхтя поднялся с лавки, – кот остался сидеть у него на плече, – поставил на стол глиняную чашку и налил ее водой, потом достал пучок длинной сухой травы.

– Молчи теперь, боярин, слова не пророни: вымолвишь что – не удастся гаданье, и худо с тобой и со мной приключиться может, – сказал знахарь и, зажегши траву от пламени лучины, стал держать траву над чашей.

Пепел падал в воду. Трава медленно горела, наполняя комнату удушливым дымом.

Годунов – этот ночной посетитель был он – чувствовал, что у него начинает кружиться голова. Непонятная слабость овладела им. Как сквозь сон, он видел, что Кузьмич, хитро посматривая своими маленькими подслеповатыми глазками, дует на него этим сладко-удушливым дымом. Он хотел шевельнуться, хотел крикнуть на ведуна и не мог от той странной апатии, которая им овладела – лень было пересилить себя. Он точно засыпал; туман застилал его зрение...

И вдруг разом рассеялся туман, точно пелена упала с глаз правителя.

Он увидел большую сводчатую комнату...

Видел так ясно, что готов был принять за действительность, если б остаток сознания не шептал ему, что это только неожиданный, непонятный сон, наваждение колдовское.

Комната озарена сиянием свеч в высоких подсвечниках, стоявших у темного гроба, полу-прикрытого покровом. Молодая, прекрасная женщина в отчаянии заломила руки и смотрит полными слез глазами на гроб. Борис узнает ее – это его сестра, царица Ирина. Узнает он и того, кто лежит в гробу. Ему виден острый профиль изжелта-бледного лица мертвеца – это царь Феодор...

Точно всколыхнулась комната и исчезла, и на месте ее новая картина.

Ярко залита солнцем огромная площадь. Гудит многотысячная толпа... И вдруг смолкла... «Царь идет!».

Вот и царь, окруженный боярами. Среди них виднеется и Василий Шуйский со своим морщинистым некрасивым лицом.

Золотом горит на солнце царский наряд. Как дивно сверкают на Мономаховой шапке самоцветные камни! Прекрасен царь в этом наряде. Трепетно бьется сердце Бориса – в этом царе он узнает себя!..

Та же площадь и так же ярко залита солнцем, такая же многотысячная толпа на ней. Но не гудит радостно московский люд. На царя – на него, Бориса – никто и взгляда не кидает: все угрюмо уставились на что-то вдали. Смотрит туда и царь.

Там виднеется что-то диковинное, никогда прежде не виданное, будто бурлит какое-то море, но не синее, а темное, зловещее... Быстро катятся волны. И видит Борис, что эти волны красного цвета, что это – кровь...

Ужас объемлет его. А волны все ближе да ближе... Поднялся огромный вал, покрытый алою пеной: прольется на город – потопит и люд весь, и самого царя.

Жалобный вопль вырывается из толпы, громок он, но еще громче ропот кровавого моря. Вал вздымается все выше и выше, уже солнце не видно за ним...

Очнулся правитель. Перед ним стоит Кузьмич, плещет ему в лицо холодной водой.

Годунов обвел избу недоумевающим взглядом:

– Где я?

– Хе-хе! – рассмеялся старик. – Да у ведуна, у Кузьмича. Ну что, узнал ли судьбу?

– Узнал, – глухо ответил Борис.

Мысль его уже работала ясно, слабость быстро исчезла, только легкая тяжесть осталась в голове. Ему жутко стало оставаться в избе знахаря.

– На, получи за труд... – промолвил он, опуская руку в карман шубы за деньгами. Но карман был пуст, другой тоже.

Кузьмич с усмешкой смотрел на него.

– Не хлопочи, боярин, я уж взял себе за гаданье, хе-хе! – прошамкал он.

– Как же ты смел? – сурово заметил Борис.

– А не все ль равно? Тебя ж от труда избавил.

Правитель махнул рукой, проворчав:

– Ну, богатей с этих денег, старый хрыч, тать ночной! – и приподнялся с лавки.

– Поймай, Борис Федорыч! – назвал его по имени старик. – Как бы тебя котик мой не поцарапал!

Годунов взглянул на кота; он сидел наежившись на плече знахаря, готовясь прыгнуть на правителя.

– Умный он у меня котик, ласковый! Меня, старика, никому в обиду не даст: чуть что – прямо в глаза он ворогу моему вцепится... даже тебе, не глядя, что ты первый на Руси после царя... Известно, зверек-дурачок, где ему званья разбирать? – говорил ведун, глядя кота.

– Да как ты смеешь меня котом травить! – грозно вскричал правитель.

– Я?! Избави бог! Да нешто посмел бы? Чай, ведь у меня одна голова на плечах. Это он сам: не хочет, видно, чтоб ты уходил. Что с ним поделаешь? Сядь лучше, да потолкуем, может, тем временем и котик поуспокоится.

– Говори, что тебе надо? – отрывисто сказал Годунов, опускаясь на лавку.

– Мне что? Мне ничего. Тобою я много доволен, плату ты мне дал, то бишь, сам я взял, щедрую... Чего еще? Вот разве спросить хотел тебя кое о чем. Да ты осерчал на моего котика, так я теперь и говорить боюсь...

– Ну, сказывай живей! – нетерпеливо промолвил Борис.

– Как полагаешь ты умом своим светлым, много ль рублевиков отсыпет мне Василий Шуйский, коли скажу я ему, что ты у меня среди ночи был, о судьбе гадал и все такое?.. Князь Василий куда какой охотник до новостей!

Борис Федорович точно ждал услышать нечто подобное от знахаря, потому что даже бровью не повел.

– А сколько бы ты хотел получить?

– Я за большим не гонюсь! Дадут столько, чтоб избенку новую сколотить да землицы купить для огорода не больно много, вот и довольно. Я за большим, сказываю, не гонюсь.

Другой, вестимо, заломил бы бог весть сколько, а я не корыстен. Какая корысть! В корысти – грех один.

– Ладно деньги получишь... Убирай кота! – сказал Годунов, быстро вставая.

Старик не тронулся с места. Кот наежился.

– Верно слово?

– Ну, довольно, колдун! Я ведь терплю-терплю да и разом конец положу! Не посмотрю на кота твоего: и его придушу, да и с тобой разделаюсь! – грозно крикнул Годунов.

Ведун понял, что дальше вести игру опасно.

– Ну, не серчай, не серчай за глупое слово!.. Котик, прыгай на печь! Иди, боярин, путь чист. Так я буду ждать денежек... – говорил знахарь, с низкими поклонами провожая Годунова.

Борис, не ответив ему, вышел.

Поутру отряд стрельцов остановился у дома Кузьмича. Как ни царапался, защищая своего господина, кот, колдуна вытащили, и скоро его тощее тело покачивалось на длинной веревке, прикрепленной к ветви неподалеку от избы росшего дерева. Разыскали стрельцы и плетенку с монетами и с веселыми возгласами поделили стариково сокровище.

– Ему, чай, теперь не нужно – давно уж он, поди, с бесами в аду пляшет! – шутили они.

Потом зажгли избу – она сгорела, как пучок соломы.

Тот же отряд стрельцов подошел и к лачуге Ивана Безземельного.

– Иван! Обманул ты меня! Разбоем, а не правым путем деньги ночью добыл! – воскликнула бледная от страха жена Безземельного.

Тот от ужаса не мог промолвить ни слова.

Какова ж была радость несчастного мужика, когда стрельцы объявили ему, что, по милости правителя, назначен он служить в царском дворце истопником.

## VIII. Кончина последнего рюриковича

Средних размеров сводчатая комната была озарена светом лампад. Много их было, потому что много было икон. Комната эта звалась царской опочивальней, но скорее напоминала келью инока. Всюду на стенах образа святых в драгоценных окладах. Дрожащий свет лампад играет на усыпающих их камнях самоцветных. В углу аналой с крестом и Евангелием.

На инока похож и сам умирающий царь Феодор. Его бледное лицо измождено, глаза впали, и взгляд их, устремленный на лик Спасителя, горит лихорадочным блеском. Царь еще жив, но душа его, кажется, уже витает в сферах надзвездных – он не слышит, как рыдает, склонясь к его изголовью, красавица супруга царица Ирина.

В глубоком безмолвии стоят бояре около смертного ложа царя. Тут и Борис, и Шуйские, и много других.

Боевые часы – подобно Борисовым, иноземный подарок – пробили одиннадцать часов. Еще полночь не минула, еще день 6 января не истек – лучше благочестивому царю свершить долг христианский – приобщиться Св. Тайн в праздник великий. К ложу умирающего приблизился патриарх Иов, окруженный толпой духовенства.

Царь по-прежнему недвижим, по-прежнему взор его устремлен на икону. Он уже далек от земли. Но, пока таится хоть малая искра жизни в его теле, он – сын земли и должен свершить свой последний долг.

Иов склоняется к его уху.

– Царь! Слезы льются из очей наших, свет в них меркнет – уходит от нас отец наш добрый! – дрожащим голосом говорит патриарх.

Царь с усилием перевел свой взгляд на его лицо; глаза потеряли свой блеск, смотрят безучастно.

– Свершим, сыне, долг последний. Наперед покончим с мирским – кому царство оставляешь?

– Богу Всевышнему, – сказал едва слышно умирающий. – Грамота есть... прочтете... Отче! Исполним долг христианский.

– Исполним, чадо, – тихо ответил Иов.

Раздалось пение молитв.

Совершился обряд соборования, исповедали, приобщили умирающего.

Тайна жизни оканчивалась, начиналась новая тайна – тайна смерти.

Которая из этих двух большая?

Умирающий заметно слабел. Его веки с трудом поднимались. Еще раз-два с трудом открыл глаза умирающий, обвел комнату помутившимся взглядом, потом веки его крепко зажмурились.

Он казался мертвым. Но грудь еще вздымалась, медленно, редко.

Глубокий вздох вылетел из царской груди. Светлое выражение легло на бледном лице.

Седьмого января 1598 года в час ночи тихо скончался последний Рюрикович.

Тихо было на улицах и площадях погруженной во мрак Москвы. Народ еще не знал о смерти царя. Поутру тягучие удары в большой колокол на Ивановской колокольне разнесли по городу, а из него и по всей Руси страшную новость: государство осталось без главы!

## IX. Подкинутый

В обеденную пору того дня, когда московский люд узнал страшную новость о кончине царя, по дороге от Москвы к усадьбе Шестуновых спешно скакал какой-то всадник. Его усы, борода и брови заиндевели от ударявшего в лицо морозного ветра. Этот белый налет не мешал рассмотреть, что усы и борода всадника были темного цвета, темными же были и глаза, блестящие огнем юности.

Этот всадник был Андрей, сын боярина Луки Максимовича Шестунова. Сыном его он звался, но на самом деле не приходился Шестунову даже и родственником: он был приемыш.

Лет за двадцать пять до того года, о котором идет речь, ранним утром, когда еще зорька чуть начинала золотить восток и июльская обильная роса еще белым налетом лежала на лугах, Панкратьевна, не бывшая тогда еще тугою на ухо, услышала доносившиеся из сеней звуки, похожие на детский плач.

Сперва она не придала этому значения.

«Ишь, лукавый мутит, чего-чего со сна не померещится!» – подумала она и собралась еще сладко соснуть часок, для чего и перевернулась на другой бок, когда уже совершенно явственно слышимый плач ребенка заставил ее поспешно подняться.

В доме детей тогда не было, Аленушка еще не родилась, младенец-сынок Луки Максимовича умер за две недели до того дня, повергнув мать и отца в глубокое горе. Был грудной ребенок у одной из холопок, у кривой Анны, так та холопка спала в другой стороне дома, и слышанный Панкратьевной детский плач не мог принадлежать Аннушкиному дитяти.

– Что за притча! – в недоумении проворчала Панкратьевна и, осенив себя крестным знаменем про случай бесовского наваждения, решительно направилась в сени.

В сенях, шагах в двух от крыльца, стояла плетеная корзиночка, и в ней что-то пищало и копошилось. Когда Панкратьевна заглянула внутрь корзины, это «что-то» оказалось темно-волосым младенцем – мальчиком месяцев двух. На шее его был надет крестильный крест, и к его тесьме привязана записка.

Встретив такую находку, Панкратьевна подняла такой гвалт, что перебудила всех в доме, начиная от самих боярина и боярыни и кончая последним кухонным мальчишкой.

Записка была отцеплена и прочтена людьми, сведущими в многомудром искусстве чтения. Записка была коротка, в ней всего было две строки. Сообщалось, что мальчика зовут Андреем, что он крещен и родился за три дня до праздника апостолов Петра и Павла.

– Печалились мы, что помер сынок наш... Вот, Господь по милости Своей нового нам послал. Будет у нас Андреюшка заместо сына родного, – промолвил Лука Максимович, и подкидыш был принят в дом.

Боярин Шестунов растил его как сына и любил его как родного. Марфа Сидоровна тоже привязалась всею душой к воспитаннику.

Однако мало кто не знал в Москве, что Андрей не родной сын Шестуновых, и втихомолку его звали «подкинутым». Молодой человек знал об этом прозвище и не обижался.

– Что ж? Ведь правду говорят: подкинутый я и есть... За что же серчать? – говаривал он.

Вообще Андрей отличался чрезвычайно уживчивым, покладистым характером. Его любили и холопы, и приятели. Мягкий характер питомца не по душе приходился только Луке Максимовичу.

– Уж это, прости господи, как будто и не как следует!.. – ворчал он порою. – Что за кротость такая андельская? Негоже это парню... Борода обе щеки обростила, а он все – словно девица красная!

Однако, когда нужно, Андрей умел показать себя и лихим молодцем. Доходило дело до схватки с ворагами земли Русской – с татарами ли, ляхами или иными, – сабля Подкинутого

не оставалась ржаветь в ножнах, а работала на славу; то же и на охоте – никто лучше его не умел поддеть косолапую мишку на рогаину.

Андрей то и дело погонял коня, хотя тот скакал и так очень быстро. Молодой человек вез в вотчину известие о смерти Феодора Иоанновича.

Дело в том, что Луке Максимовичу захотелось провести праздник Крещения в своей семье, и он уехал из Москвы, оставив в ней приемыша, дав ему наказ – чуть что случится, скакать немедля в вотчину с весточкой. Андрей так и сделал. Едва он услышал о кончине царя, как оседлал коня и пустился в путь.

Теперь до вотчинки Шестуновых, которая, сказать кстати, звалась Многогнездною, от обилия в боярском саду птичьих гнезд, было уже не далеко; еще десятка два скачков доброго коня, и путник въехал в ворота усадьбы.

– Боярин! Андрей Лукич приехал! – будил холоп Луку Максимовича, недавно привалившегося соснуть после обеда и уже успевшего забыться крепким сном.

– Андрюшка? Стряслось, стало быть, что в Москве, уж не хуже ли стало царю! – воскликнул боярин, поспешно вскакивая.

Андрей уже входил в опочивальню.

– Здравствуй, батюшка! – поздоровался он, почтительно целуя руку названного отца.

– Здорово!.. Что там случилось?

– Ох, случилось скорбное дело! Царь долго жить приказал.

– Помер царь-батюшка, надежа, царство ему небесное, вечный покой! – печально проговорил Лука Максимович. – Когда скончался?

– В ночь на сегодня.

– Чего ж ты раньше-то сюда не приехал?

– Поутру только сам узнал. Стоном стон стоит теперь в Москве!

– Еще бы! Этакое дело! Кто теперь царем будет?

– Сказывают, что царица Ирина. Опять же толкуют и то, что она от мира удалиться хочет...

– Смута идет, али так мирно все?

– Пока что мирно. Слухи ходят...

– А ну, какие?

– Перво-наперво, говорят, что откажись Ирина – быть царем Борису.

– Глупство! Перемерли у нас все бояре родовитые, что ль?

– Однако народ не прочь – потому привык к Борису... Потом еще слух идет, что хан Крымский готовится на Русь набежать...

– Гмм... Штука плохая, коли царство без главы будет, а басурманин нагрянет...

– Еще кое-что толкуют несуразное...

– Ну?

– И сказывать неохота: слух пускают иные, что Борис Федорович царя зельем уморил.

– Думаю, пустое это... Кто сам себе враг? Что за прибыль Годунову царя извести? Теперь ведь, что еще с ним, с первым человеком на Руси, будет, бабушка надвое гадала... Может, и ничего, останется, как был, а может, и худое что приключится.

– Ну, вряд ли что худое! По-прежнему его все слушают: и бояре, и простой люд...

– Надо в Москву скорей ехать. Митька! – крикнул он холопа. – Давай-ка снаряжаться к пути... О-ох, бо-о-же мой! Какая беда с царством Русским стряслась! Не помер бы Димитрий царевич, не скучали б мы теперь, был бы наследник, а теперь – на! – бормотал боярин, снаряжаясь к дороге.

Боярин Лука Максимович был среднего роста, еще не старый мужчина; в его темных волосах и бороде еще только начали появляться серебристые нити седины; лицо его дышало здоровьем, небольшая полнота сообщала боярину сановитость. Он был веселого характера

и большой говорун, но вспыльчив, хоть и отходчив, и во время гнева становился крутенок. Ничего общего в наружности между Лукою Максимовичем и Андреем не должно было бы быть. Действительно, они рознились ростом – Андрей был выше, волосами, несмотря на то что у обоих они были темными – волосы приемыша слегка вились и были мягкими, у названного отца они были прямы и жестки, но глаза... странно! Глаза их были чрезвычайно похожи. Один и тот же цвет, одинаковый разрез, рознились они только выражением. Такие сходные глаза могли быть только у близких родственников, а между тем никакого родства не могло существовать между приемышем и его воспитателем.

– А ты чего шубу-то скидаешь? Чай, не стоит и раздеваться на такой срок недолгий – сейчас едем, – заметил Лука Михайлович Андрею, увидев, что последний готовится скинуть тяжелую шубу.

Андрей замялся.

– Я... того... Я в вотчинке остался б, пока что.

– В такие-то дни?! Али с ума спятил?

– До завтра только. Поутру, чуть свет, в Москву отправлюсь.

– Гмм... Что тебе здесь-то делать? Едем-ка лучше.

– Нет, уж позволь.

– Устал с пути, что ли? Уж не больно такой переезд огромный, чтобы так устать.

– Устал... Не от пути, а так, от всего иного... Поднялся поутру раным-рано, все на ногах, – почему-то смущаясь, говорил молодой человек.

– Ну, твое дело! Оставайся, коли охота... Митька! Вели коней седлать – со мной ты и еще человек пяток холопей поедет. Ну, живей беги! А ты, Андрей, завтра бесприменно ранним утром в Москве чтоб был, слышь?

– Будь покоен, батюшка, как сказал, так и сделаю.

В комнату вплыла Марфа Сидоровна. Началось прощанье с отъезжающим.

Андрей, по-видимому, был очень доволен тем, что остается в вотчине. Прощаясь с приемышем и взглянув на его довольное лицо, Лука Максимович невольно подумал: «Гмм!.. Что за мед такой для Андрюшки здесь оставаться?»

## Х. Какой мед для приемыша сокрыт был в вотчине

Когда Лука Максимович задал себе подобный вопрос, то, конечно, ему и в голову прийти не могло, что «мед» этот существовал на деле и заключался в черных глазках Дуняши.

Стройная боярышня уже давно приглянулась Андрею, хоть он принимал свое влечение к ней не за что иное, как за дружбу, какая бывает между братом и сестрой. Но почему же с Аленушкой, которая звалась его сестрою, он не был так близок? Случалось ли ему надолго уехать из вотчины, он скучал по Дуняше гораздо сильнее, чем по Аленушке. Почему? Над этим он сам не раз задумывался.

Быть может, здесь играло роль то правило, далеко не всегда, впрочем, исполняющееся в жизни, что природа любит сблизать противоположности. А большую противоположность, чем та, которая существовала в характерах Дуни и Андрея, трудно было представить.

Дуняша была горда и самолюбива, далеко не покладистого характера, как и далеко не любившая прощать обид. С соседними боярышнями она не сошлась – ни одна из них не сделалась приятельницей Дуни, зато все стали подругами Елены Лукьяничны. Дворня ее недолюбливала, хотя боярская племянница не обходилась грубо с холопами, но зато и не любила дарить их ласковым словом.

Она казалась всегда спокойною и холодной, но под этим наружным льдом таились кипучие страсти, пока еще дремавшие. Она по-своему была также привязана к Андрею: привязанность эта была похожа на привычку господина к своему покорному и верному рабу. Она говорила с ним с тем видом снисхождения, с каким говорит старший с младшим. Это являлось у ней ненамеренно.

А Андрей любил с нею беседовать... Часто летом, в жаркий полдень, когда Дуня сидела с вязаньем в тени развесистого дерева, он подсаживался к ней и говорил, говорил... О чем? Обо всем, что приходило ему в голову. Он был грамотен, прочел всю печатную Библию Острожского, экземпляры которой уже появились в то время в Москве, читал рукописные сборники стародавних преданий, жития святых. Все это давало ему немалую пищу для разговоров. Андрей поверял свои думы и сомнения Дуняше, советовался... Большею частью Дуня слушала его молча, с тою полуулыбкою, которая играет на устах матери, слушающей лепет ребенка, лишь изредка вставляя короткие, отрывистые замечания.

Иногда молодым человеком овладевала легкая грусть. Тогда он брал руку девушки и молча целовал, а Дуня гладила его мягкие кудри, потом слегка прикасалась устами к его высокому белому лбу.

Этот поцелуй был братский, такой же, каким обменивалась она с Аленушкой, но Андрей от него оживал, грусть пропадала, и он чувствовал себя таким счастливым, как никогда раньше.

Эта дружба или нечто, похожее на дружбу, была странна, но крепка – она тянулась годы: она началась еще в ту пору, когда Андрей и Дуняша вместе играли в незамысловатые игры.

Приемный сын Шестунова был дружен и с Аленушкой, но отношения их были чисто братскими, и здесь роль старшего, более авторитетного, выпадала на долю Андрея.

Аленушка и ее двоюродная сестра, узнав, что отец уезжает в Москву, сбежали вниз попрощаться, потом вернулись в свою горенку к работе. Вскоре после отъезда Луки Максимовича поднялся к ним и Андрей, имевший, по праву близкого родственника, каким считался, свободный доступ в закрытый для чужих терем.

Он подсел к девушкам и думал рассказать им о московском событии, когда вошла Марфа Сидоровна.

– Слышал, Андрюша, что у нас-то тут приключилось? – сказала боярыня, присаживаясь на лавку.

– Что такое?

– Кабы не люди добрые, верней, чудо от Господа Бога, – может, и в живых не застал бы ни Алены, ни Дуни...

И Марфа Сидоровна рассказала ему о нападении волков и о спасении девушек.

– Щербинина князя Алексея я знаю; не знаком, а знаю... Того другого, Павла Белоготуренина, тоже видал... Добрые паренки! – промолвил приемщик, когда боярыня закончила рассказ.

– Это который же из них князь Алексей? – слегка вспыхнув, спросила Аленушка.

– Не тот ли, который повыше? – спросила и Дуняша.

– Нет, – ответила Марфа Сидоровна, – тот, что пониже ростом и волосами потемней...

– А... – с разными оттенками протянули боярышни, и хозяйская дочь почему-то покраснела еще сильнее.

– Чего это ты? – заметила краску дочери мать.

– Да все... Все с того... Как вспомню про волков, в жар кидает, – пробормотала боярышня.

– Напугана... Вестимо, как и не напугаться!..

Аленушка низко наклонилась к пьльцам. Потом быстро поднялась.

– Я пойду... Прилягу...

– Что с тобой? Али недужится? – с тревогой спросила Марфа Сидоровна.

– Голова болит...

– Ахти, господи! Уж не застудилась ли на прогулке на этой? Не хотела я тогда отпускать, словно чуяла... Панкратьевна с толку меня сбила... Поди, поди ляг! А я малинки заварю тебя попоить... Ах, грехи, грехи! – ворчала боярыня, выходя вместе с дочкой из комнаты.

Андрей точно обрадовался, что он остался вдвоем с Дуней.

– Скучал я в Москве по тебе. Нарочно упросил отца оставить меня в вотчине на денек, – заговорил он. – Дивное дело! Как тебя нет, так такая тоска сердце мое защежит, что беда просто! Привык – сыздетства ведь все вместе... Однако вот по Аленушке не так скучаю...

Дуня рассеянно слушала Андрея. Она исподлобья смотрела на него. Каким невидным, простоватым казался ей этот друг детства в сравнении с тем молодым красавцем, богатырем-боярином, которого она звала «соколом», не зная до сегодня его имени. «Павел! И самое имя-то куда лучше, чем Андрей! Андрей, Андрюша... Фу! Совсем не то, что Павлушенька...».

А молодой человек продолжал говорить о своей тоске, о неотступном желании провести с нею, с Дуняшей, часок-другой вместе... Наконец он заметил, что Дуня не слушает его.

– Дуняша! Ты грустишь? О чем? Поведай... Подели тоску свою со мной, родная ты моя! – промолвил он и хотел взять ее за руку.

Девушка нетерпеливо вырвала руку.

– Оставь! Что за глупости! – резко проговорила она.

Андрей в недоумении посмотрел на нее.

– Серчаешь на меня за что-нибудь, Дуняша? – сказал он.

– Не серчаю, а так... Не дети малые, чай, теперь мы, нечего нам глупствовать-то...

Будет! – ответила девушка и отвернулась от него.

Андрей печально поник головою.

Он не остался в вотчине до утра, как предполагал об этом раньше, а поспешно уехал в Москву в тот же день.

## XI. Свершилось

Светаёт. Тьма ещё борется с бледным светом февральского утра, но на покрытые снегом верхи боярских хором уже ложится розовый отблеск.

Москва не спит. Слышится движение, глухой ветер. Это не пробужденье, вызванное рассветом, – и глубокою ночью шум народный не умолкал. Да и возможно ли спать накануне такого дня: наступающий день должен был решить, утвердится ли Борис Федорович на престоле, получит ли отца осиротелая Русь или нет. Кто надеялся, кто сомневался, но все жарко молились, чтобы смягчил Господь Борисово сердце. Ведь это уже в третий раз пойдут молить Годунова. Уже два раза отказывался. Царица Ирина удалилась от мира в Новодевичий монастырь и была уже пострижена, получив в монашестве имя Александры. От царства она решительно отказалась. Вместе с нею скрылся в келью и Борис Федорович. Ему предложили быть царем, и он наотрез отказался, говорил, что боится такой страшной власти, какою обладает царь, боится той тяготы, которую приносит она, хочет мира и спокойствия – мирская жизнь опостылела ему не меньше, чем его державной сестре. Созвали выборных со всей Руси. Молились, совещались и наконец объявили Борису, что вся земля Русская избирает его в цари. Он вторично отказался. Теперь предстоял третий и решительный раз.

В тесной монастырской келье, освещенной светом лампы, в волнении шагал Годунов.

Сегодня он будет царем... Великим царем «всёя Руси». Довольно томиться, довольно ждать! Ах, если б знали они, эти седобородые старцы-святители, эти хитрые, завистливые бояре и простодушные представители серого люда, чего стоило ему отказаться от царства, когда все помыслы его стремились к блестящему столу государеву! Ах, если б знали они! Но они не знают, они принимают его отказ за истинный, непритворный... И смущаются духом... Как не смущаться? Молва, что хан Крымский идет к Москве, все громче и громче становится, на Руси беспокойно: многие воеводы не слушаются указов царицы Ирины-Александры. А царя нет! Кто спасет царство от гибели? Не бояре ли? Упаси бог!

Избирать царя беспрерывно надо!

Кого больше, как не Бориса?

А он отказывается...

Дошел до этого в своих размышлениях Борис и усмехнулся.

«Бедные! – думает он. – Невдомек вам то, что хочу быть избран я в цари не Москвою одною, не сотнею-другою людей, а всею святою Русью. Пришли бы все: духовенство, бояре, жители земли Русской – в первый же раз, может, согласился б, а так – нет: сесть на царство – так сесть крепко. Сегодня я приму державу, конечно, для вида поломаюсь маленько, сегодня будет звать меня на царство не одна Москва с немногими городишками, а вся Русь!.. Ух! – схватил себя Борис за голову. – Да неужели на этой голове будет сиять драгоценная золотая шапка Мономахова, та самая, которую носил Иван Грозный? Думал ли я об этом, когда сидел на пирах у Ивана и дрожал от гнева его? Много пережил я, многого это мне и стоило – ох, многого! – но теперь конец – добился! И кого ради добивался я – ради себя, что ли? Так детушек моих ради, ангельчиков. Милые! Для вас! Федя! Сынок! Наследник ты царства Русского, а ты, Ксения, будешь женой короля какого-нибудь заморского. Уж я подыщу, будь покойна! Подыщу, красotka моя!..»

В келью донесся глухой шум из города. Борис вздрогнул.

«Сейчас придут, надо приготовиться встретить будущих подданных. Последние часы я – боярин Годунов, сгинет он навеки, будет вместо него – царь Борис... Господи! Помоги, укрепи!..»

Борис Федорович осенил себя крестным знаменем.

«Что это, точно щемит что-то мое сердце?.. В такой час! Я радоваться должен, радоваться... А на душе тоскливая смута! Али недоброе что чувствуется? Пустое! Это все колдун тот, Кузьмич, наделал... Господи, помоги мне, укрепи дух смятенный!..»

По мере того как светает, громче и громче становится гул народа. Луч зимнего солнца блеснул на маковках колоколен.

Чу! Прокатился удар в колокол и затих. Вот второй, третий, и вдруг зазвучали колокола всех московских церквей. Народ зашумел и разом смолк: шло духовенство со святыми иконами. Вот патриарх Иов и архиепископы несут благоговейно Донскую и Владимирскую иконы. Из попутных церквей выходят священнослужители и присоединяются к процессии. Развешаются хоругви, блещит парча облачений. За духовенством идут бояре, выборные от городов, а дальше толпа, необозримая толпа московского люда... Гул колоколов мешается с пением священных песен. Вот и Новодевичий монастырь. Зазвучали монастырские колокола, открылись ворота, выносят оттуда, встречу идущим, икону Смоленской Божией Матери. За иконою идет Борис Годунов. Он кажется изумленным, потрясенным.

– Владычица Пресвятая! – воскликнул он, упав перед Владимирской иконой. – Защити меня покровом Своим! Отче! – обратился потом он к Иову. – Зачем зовешь меня на царство? Опостытели мне мир и суета его – хочу молитвы и от зол успокоения. Зачем не даешь свершить мне дело благое? Отче! Перед Богом ответишь за то!

– Иной жребий готовит тебе Господь... Дерзнешь ли противиться Его Святой Воле? – ответил Иов.

Вошли в монастырский собор. Началось служение литургии.

Церковь, монастырская ограда, все Девичье поле было сплошь покрыто народом. Андрей Подкинутый тоже находился среди народа и стоял вблизи паперти.

Он был задумчив, почти угрюм; за последнее время характер Андрея значительно ухудшился; молодой человек стал гораздо раздражительнее, чем прежде. Друзья заметили эту перемену, спрашивали его, что с ним, – приемный сын Шестуновых только угрюмо отмалчивался. Не мог же он сказать им, что все это происходит из-за странной перемены к нему Дуняши. Она сделалась холодно-горда с ним, неприступна. Не мог же он сказать друзьям, что тоска гложет его сердце, что об одном только он думает, как бы подарила бывшая подруга его ласковым взглядом.

И еще кое-что раздраженья прибавляет. Заметил он, что перемена эта свершилась после спасения двумя боярами молодыми боярышень от нападения волков. Почему? Заметил он и то, что Дуня либо бледнеет, либо вспыхивает, когда при ней назовут Павла Белого-Туренина.

Что-то вроде ревности начинало шевелиться в душе Андрея против этого боярина.

– Пропусти-ка, добрый человек! – послышался голос над ухом Андрея, и чья-то рука легла на его плечо.

Молодой человек быстро обернулся, посмотрел и вспыхнул: он узнал Павла Белого-Туренина.

Всякого другого Подкинутый пропустил бы беспрекословно, но в данном случае он поступил иначе.

– Ты чего же это толкаешься? Али я – холоп тебе? – с раздражением воскликнул он.

– Когда ж я тебя толкал? Пропустить прошу...

– Просят не так...

Павел, в свою очередь, рассердился.

– Ну, чего толковать! Буде! Пусти-ка! – сказал он.

– А! Вот как! Не пущу!..

Богатырь Белый-Туренин легким толчком заставил Андрея отшатнуться в сторону и вошел на паперть.

Андрей схватился за плечо, нывшее от толчка, и злобно посмотрел вслед Павлу. То легкое злобно-ревнивое «нечто», которое испытывал он недавно к Белому-Туренину, теперь превратилось в ненависть.

Только что окончилась литургия, из храма двинулся крестный ход к келье царицы Ирины-Александры. Патриарх умолял инокиню-царицу наречь царем Бориса. Годунов бил себя в грудь, отказывался. Ирина, в слезах, упала к нему на грудь.

– Брат! Прими царство!

И вдруг в это время весь народ в келье, в ограде, на Девичьем поле пал ниц, плача, умоляя Бориса Федоровича не отказываться от державы.

Старцы, и юноши, и дети, мужчины и женщины – все равно были взволнованы, потрясены. Андрей не был расположен, под влиянием своего приемного отца, видеть Годунова на престоле, но теперь, охваченный общим волнением, чувствовал, что слезы выступают у него на глазах, и он, стоя на коленях, бил себя в грудь и вопил, как все:

– Смилуйся! Будь царем, отцом для нас, сирых, Борис Федорович!

Потом разом поднялось с земли, всколыхнулось народное множество.

– Согласился! – бурным возгласом пронеслось в народе, и вся многотысячная толпа устремилась к келье Ирины. Давка была ужасная. Сильный попирает слабого, чтобы только на один аршин подвинуться ближе, чтобы хоть одним глазом взглянуть на новоизбранного царя, который в эту минуту появился перед народом.

– Вот он, наш милостивец! Надежа-царь православный!

И народ рвался к царю Борису, оттесняя духовенство, бояр; кидался на землю перед ним, целуя его ноги. Годунов тоже изменил своему всегдашнему хладнокровию. Он был бледен, и в глазах его сверкали слезы. Но зато какое торжество выразили его глаза, когда патриарх Иов в храме монастыря, на молебствии, провозгласил первое многолетие «царю и великому князю Борису Федоровичу всея Руси!» «Свершилось!» – радостно пронеслось в его голове.

## ХII. В ожидании «милого»

Жаркий июльский день. Душно в горенке, хоть окна распахнуты. В воздухе тишь такая, что занавески на окнах повисли складками, не шелохнутся.

Они не дают ворваться в девичью горячим солнечным лучам, только узкая желтая полоска проникла в комнату и светлым пятном легла на натянутом на пальцах куске атласа, легла на том месте, где змейкой вившаяся по ярко-красному фону материи золотая нить перекрецивалась с серебряною нитью и где в это время рука Аленушки только что вышила маленький крестик.

Не работалось боярышне. Она бросила иглу, встала, подошла к окну и отдернула занавеску. Целый поток света облил ее и заставил опустить голову и прижмуриться.

Потом Аленушка, прикрыв глаза от солнца рукой, внимательно всмотрелась вдаль.

Вон конец сада Шестуновых – там так отчетливо выделяются вершины двух столетних дубов, местами лишенные листьев, местами зато густо покрытые темною зеленью. Дальше поле с недвижною теперь, уже колосившеюся, зеленою рожью; еще дальше лесок, тот самый, возле которого зимой на боярышень напали волки; из-за него круто поворачивает и перерезает поле дорога. До леса отсюда, от усадьбы, не мало верст, но у Аленушки глаза хорошие, «светленькие», как любит говорить старуха Панкратьевна; боярышня легко различает отдельные деревья леса, и даже, покажись в это время из-за них человек, она бы и его заметила и узнала по походке, из знакомых он или нет. Но из-за деревьев никто не показывается, пуста и дорога – хоть бы одна живая душа на ней.

Глаз не спускает боярышня с леса... Ох, этот лесок! Памятен он ей не по тому одному, что там чуть с белым светом ей не пришлось распротиться, а и потому, кого она и в тот же страшный день вблизи него впервые увидела.

Да, страшный день и милый день! Милый потому, что только с этого дня поняла она, для чего бьется сердце в груди ее девичьей. Только с этого дня. А до него... до него, кажется теперь Аленушке, она не жила, а так, словно готовилась жить. Теперь, о, теперь она понимает, что значит жить! Это значит, что сердце то сладко замирает в груди, то бьется в тревоге, и смута в душе такая, в которой счастье с грустью мешается, и все ждешь чего-то и то радуешься так, что кровь в виски шибко-шибко стучать начинает, то тоскуешь до того, что свет в очах меркнет, а все вместе это так хорошо, так хорошо, что и сказать не может язык человеческий! Вот что значит «жить». «И любить» надо было бы к этому добавить, но Аленушка в думах своих этого не добавила: «жить» и «любить» сливались в одно.

Замечталась боярышня, нипочем ей, что солнце жарко греет ее голову.

Не то для Дуняши, которая угрюмо сидит за пальцами: солнечный свет беспокоит ее.

– Алена! Будет тебе... И так жарко, а ты еще занавес отдернула... – недовольно проговорила Дуняша.

– Сейчас, сейчас... – ответила Аленушка, а сама стоит по-прежнему.

И вдруг встрепенулась, вспыхнула и губы закусила, чтобы не вскрикнуть от радости. Только край занавески задрожал в руке.

Она увидела, как из-за леса выехал всадник. Кто он – об этом сказало ей вдруг трепетно забившееся сердце.

Она знает, что сейчас свернет с дороги в поле, потом скроется за садом, а потом... потом, верно, будет и в саду, скрыв коня в кустах неподалеку и перебравшись через высокую изгородь.

– Милый! – хочется крикнуть боярышне.

– Аленушка! Да скоро ль ты занавеску-то опустишь! – слышался нетерпеливый возглас Дуняши.

– Сейчас! – по-прежнему ответила ей Аленушка и полуопустила занавеску, а сама еще смотрит.

Всадник скрылся за деревьями сада. Боярышня быстро отошла от окна. Она села было к пальцам, но иглы не взяла, посидела немного, встала, прошлась по комнате, опять опустилась на скамью. Потом решительно поднялась:

– Я, Дуня, пойду... Погуляю малость...

– Уж вижу, вижу – не сидится, – недовольно отозвалась та. – Смотри, тетушка и то намедни говорила: чтой-то как работаете вы тихо?.. Святая вещь ведь, в храм жертва от трудов своих, и такое небреженье! Нехорошо, грешно, девицы!

– Я недолго.

– Как хочешь... А только будет Марфа Сидоровна корить – я напрямик скажу, что ты лень на себя напустила, больше гуляешь, чем шьешь... – с раздражением в голосе сказала Дуня.

– Ну, голубушка! Ну, милая, не сердись! Не сердись? А? – говорила Аленушка, обнимая и целуя двоюродную сестру. – Я ведь скоро, погуляю малость и домой...

И вдруг, выпустив из объятий Дуню, она выбежала из комнаты.

– Приспичили ей эти гулянки! – ворчала Дуняша, оставшись одна. – И сберется-то всегда как! Разом, словно в бок толкнет ее кто. Лень одолела, ничего больше! – закончила она свои мысли и принялась старательно за вышивку.

Хоть Аленушка пообещала, что только «малость» погуляет, однако времени прошло уже довольно, а она не возвращалась.

Дуня ждала, ждала, наконец не на шутку рассердилась.

– Пойду прогону ее с гулянья... Что, в самом деле, она без дела шатается, а я тут одна и за нее, и за себя работай. Не буду! Пусть-ка сама поработает!

И, с досадой отбросив иглу, она поднялась из-за пялец.

### ХIII. Неожиданное открытие

Мягкая трава сада тихо шуршала под ногами Дуняши, когда боярышня шла отыскивать свою «ленивую» двоюродную сестру.

– И куда запропастилась! Нет как нет! Что в воду канула! – сердито ворчала девушка, все дальше углубляясь в сад.

Можно было бы кликнуть – Аленушка, верно, отозвалась бы, но Дуняша кричать не хотела: еще услышит, пожалуй, Марфа Сидоровна, задаст нагоняй Аленушке, что от дела убегает, да, быть может, и ей, Дуне, кстати, зачем не сказала об Аленушкиной лени.

Лучше было тишком отыскать. Только это было не так легко. Сад велик и густ, кусты разрослись такие, что, словно стена, все скрывают. Кто знает, в какой стороне сада беглянка боярышня?

Собравшись с терпением, Дуняша искала не торопясь, обошла все любимые Аленушкой места и закоулки, приближалась уже к изгороди, отделявшей сад от поля, а боярышня все не находилась.

Раздосадованная Дуня готова уже была громко назвать «ленивицу», когда до ее слуха донесся негромкий говор двух голосов.

Девушка остановилась и прислушалась.

Кто бы это мог быть?

Скоро она различила, что один из голосов принадлежал Аленушке.

Говорили близко – только один очень густой и высокий куст отделял Дуню от беседующих.

– Не чудится ли мне? – задала себе вопрос девушка, потому что открытие было слишком необыкновенным.

Но голоса явственно доносились.

Дуня осторожно раздвинула куст, взглянула и прикрыла рот рукой, чтобы не вскрикнуть от изумления: в нескольких шагах от себя она увидела стоявших у дерева Аленушку и молодого князя Щербинина.

Дуня так и замерла, не спуская глаз с пары. Она видела, какую ласкою светятся глаза Алексея Фомича, какой яркий румянец горит на щеках двоюродной сестры.

Вот он наклоняется к Аленушке, целует ее прямо в алые полуоткрытые уста... тихое слово «Прощай!» грустно прозвучало в тишине сада.

Дуня выбралась из куста и опрометью пустилась бежать к дому. Почему она не окликнула Аленушку? Быть может, потому, что слишком сильно волновалась.

Ее сердце тоскливо билось, и что-то вроде зависти закралось в нем, зависти к счастью своей родственной подруги. Она понимала, что Аленушка теперь счастлива так, как редко приходится быть людям счастливыми, понимала по себе, потому что и ее сердце просило такого же счастья.

Почему не выпало ей того же на долю? Чем она хуже Аленушки? Разве не могла она так же приглядеться тому, красавцу приятелю Алексея Фомича, полюбить его, как ей люб он? Ах, соколик! Как люб он ей! Больше света белого! Все бы отдала, к нему кинулась, только приди он да скажи: «Пойдем со мною, желанная! Брось все!»

Прибежала в горенку Дуня, села за пяльцы было – не может шить: руки дрожат.

Пошла легла в постель и задумалась, что замерла. Так и к обеду не вышла, и на зов вернувшейся Аленушки не откликнулась: чувствовала она, что скажет слово – пожалуй, вместе с этим словом из очей прольются слезы, тоскою навеянные.

## XIV. Любовь

– Леночка!  
– Голубчик Алешенька!  
– Да я век, кажись, с тобой не расстался б! Ведь вот попрощался совсем, а уйти силушки нет – ноги не идут.

– Соколик! Завтра приедешь?  
– Беспременно, если на наше счастье погода не сменится...  
– Авось, Бог даст. Я бы и в дождь-проливень прибегла, да матушка остановит... Ах, милый! Да и люб же ты мне!

– Чай, не боле, чем ты мне, голубка.

Поцелуй прозвучал в тишине сада.

Долго прощались они, расходились и опять возвращались и медлили, оттягивая минуту расставанья.

Наконец собрались с силами, расстались.

Ловко перемахнул молодой князь через изгородь, свистнул коня. Конь прискакал на зов хозяина и с тихим ржанием остановился подле него.

Вскочив на седло, Алексей Фомич дал волю коню, оставив свободно висеть узду. Конь пошел мерным шагом, а князь Щербинин задумчиво смотрел вдаль.

Из ржи поля вспорхнул, как вырвался, жаворонок, конь фыркнул в легком испуге, а сверху уже неслась серебристая замирающая трель. Молодой князь поднял голову и посмотрел на птицу, которая темной, все более уменьшающейся, точкою виднелась на яркой до того, что смотреть было больно, синеве летнего неба.

Песня жаворонка находила себе отзвук в душе Алексея. Ему хотелось вторить веселой птичке, хотелось взлететь, как она, ввысь и крикнуть оттуда белому свету о том счастье, каким полно его сердце.

Он шевельнул узду. Конь согнул шею и поскакал, вздымая копытами целое облако дорожной пыли. Быстро несся конь, но еще быстрее неслась вереница мыслей и воспоминаний в голове мечтателя князя.

Образ златоволосой любимой боярышни витал перед ним. Эта милая девушка – «она», та таинственная красавица, которая так часто рисовалась ему в грезах. Это – «она», он узнал ее, увидев в первый раз: ему все открыло тогда вдруг трепетно забившееся сердце. А как потом он отчаивался, что, быть может, никогда больше не придется с нею встретиться: он знал, что терем – это та же крепость. Можно бывать в усадьбе, беседовать с хозяином, порою с хозяйкой, быть желанным гостем и все-таки не видать затворницы терема – он все же чужак, а обычай запрещает девицам выходить к чужим людям. Кто же преступит обычай? Ведь сказано: «повальный обычай – что царский указ».

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.